Илья НАГОРНОВ

# МОРОК

## Повесть

## [С неодолимой завистью к чужим талантам]

*Аннушке*

Ничего больше не будет.
Рожай сына.
*Юрий Олеша. Зависть*

### Глава 1. Гнев

[*Морок — божок с волжских болот. Дух иллюзий и сна, покровитель маринованных помидоров, хранитель неожиданной правды и двух бочек с тайным содержимым. Мы любим Морока, а он нас, кажется, нет.*]

Будто с холста Мунка — мост. Шагаю по асфальтобетонной бесконечности. Словно не мост это, а пирс, уходящий далеко в море. Податливая, что-то напоминающая тьма на той стороне реки выдавит из себя столько бетона и асфальта, столько перил и столбов с проводами, сколько требует замысел одурачить меня. Но эта ночь — тайна отгаданная. Дура. Темнота отверстия в сельском нужнике — и та замысловатей.

Как вы говорите, мистер Набоков, колыбель над бездной? Очень может быть.

Русла встречных трассеров, красных и белых, делят мост надвое. Белые — в меня, от меня — красные. Не мост, а русская революция. Внизу, за мельканием пыльных перил, под нитями машин и бетоном, дрожащим и горячим, как в лихорадке, — иной поток: Ока — студень, который растает к утру, — черная, густая, холодная, жуткая и на вид липкая. Как только рыбы не вымерли со страху и брезгливости, плавая в ночной реке?

Рыбы, доложу вам, страх как брезгливы. Бесстрастные эти гурманы тщательно избирают, что на ужин, кушая лишь утопленников, бывших людьми хорошими. Хорошие, по мнению карпов и уклеек, — те, у коих не бывало алиментных долгов и больше двух любовниц одновременно, а также — главное — не водилось тяги к рыбалке. И еще те, кто при жизни не имели отношения к руководству завода, слива-

---

Илья Андреевич Нагорнов родился в 1989 году в городе Лысково Нижегородской области. Писать художественную прозу начал в семнадцать лет, публиковался на любительских литературных интернет-порталах. Первая «бумажная» публикация состоялась в 2010 году. В 2011 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» с повестью «Прибытие». Повесть «Морок» вошла в лонг-лист этой же премии в 2012 году. Живет в Нижнем Новгороде.

ющего в реку безбожные тонны вязкого, неудобоваримого дерьмеца. До смертных же людских грехов и страстей карпам интереса нет, в конце концов, это не их дело. К тому же из реки видно: на берегу у моста — церковь, кстати, Карповская; там-то, напрасно думают рыбехи, грехи утопленников давно искуплены.

Но всяких там бывших спиннингистов, поплавочников, мормышечников рыбы на дух не переносят и не едят никогда. Потому-то бедолаги эти и всплывают, нетронутые, печальными белыми островками, выпячивая, будто старые сумоисты, рыхлые свои животы, неестественно раскинув пухлые руки.

Под мостом темень, предо мной — непроглядь.

Кажется, в сей час вода бурлит жизнью разномастных тех утопленников, мельканием русалочьих хвостов и шевелением прочей нечисти — аж вода пенится. Но отбросив лишнюю фантазию, которая, дай волю, доведет до греха, скажу, что там действительно происходит. Трупы бездейственно и неинтересно пухнут, потихоньку разлагаясь в прибрежной осоке, а русалок — тех совсем нет: близ больших городов их не встретишь. В области, на той же Оке, в Волге, на реке Пьяна — эта петляет по земле, словно бредущая к дому загульная баба, по озерам и топям, на речках-капиллярах нашего края — вот там да, в покойных тех местах водятся они, водяницы. Лоскоталки, реже криницы.

К слову сказать, любая девушка легко может стать криницей, если очень одолеваема будет желанием. Достаточно в нужное время утопнуть. По весне, как вскроются реки, не проследить — дозволить бурной воде цвета разбавленного молоком кофе поглотить себя, отдаться и довериться ретивому потоку, как младому мужу, — вот что требуется. Да потерпеть немножко. Терпения хватит, так увидишь, как жизнь девичья спокойствием разливается: из тела выходит, как та самая бурная река из берегов — по полям да лугам, на волю. Душа, свободу заполучив, уж не отдаст никогда.

Скромные да пугливые, как маленькие птицы, живут русалки тихо, не высовываясь: люди — неприятные для встреч существа.

«Откуда знаешь о водяницах?» — спросите, воровато озираясь. «Скоро поймете», — отвечу с неохотой, как человек проболтавшийся, но спохватившийся вовремя.

Очень вы много хотите от незнакомца.

* * *

Фамилия моя Путимиров. От весны, в которую меня, три семьсот, родила горемычная моя мамуля, до нынешнего лета скромно мелькнули ситцевыми юбочками еще двадцать две весны. Яриловы те невесты мелькали то под нервную скрипку, то под разудалую гармонь. Но чаще в тишине, заставляя прислушиваться к капельному ксилофону.

«Дзинь-дзинь, хлюп-хлюп, чмок-чмок, вот и прошел еще один твой год, Неврик, милый мой мальчик без вредных привычек и понятия о том, как жить нужно», — год от года горячо шептала в ухо жизнь. Озорная девица. Гибкая в талии, будто она из пластилина. Пластичность ту догадаться бы использовать, пока не затвердело.

И сам знаю: важно, иметь концепцию бытия очень важно, потому как без ориентиров и планов — не жизнь, а баловство. Ну, самый бы примитивный проектик! Но не дал Бог индивидуального, а чужие не прижились. Вот оттого впереди меня и не светит, говоря образно, ни одного маяка. Ни одного приаптечного фонаря, источающего сладкий свет мечты своими медовыми огнями. Ой, ничего! Решительно ничего не вижу.

Отца я не знаю. В старом альбоме есть снимок: он и мама, еще до меня. Неприятно звучит «до меня», но такое время, кажется, было: слишком много тому свидетелей. Отец на фото широкоплечий, красивый и двадцатидвухлетний, как Маяковский. Однако в детстве, подолгу рассматривая фото, теплых чувств я на его счет не имел. Видел хитрую улыбку, фальшивую, на мой взгляд, радость, безобразно оттопыренный карман клетчатой рубашки без рукавов и плохо прикрытое желание бросить маму.

Мама была наивной, восторженной девочкой, и в семнадцать и в тридцать. Она, закатывая небесные глаза к различным потолкам многочисленных наших жилищ (мы много переезжали), часто повторяла, что именно отец нарек меня именем — самоотверженный воспитатель, не правда ли? Малый с фантазией и юмором, надо отметить. Звучит, нечего спорить. Невзор Путимиров — так меня зовут.

Мама также упоминала, что, сразу после того, как выбрал мне имя, родитель пропал без вестей и писем — говорила, впрочем, без злости. Она его, наверно, любила. Уж не знаю, насколько он к тому причастен.

Правильно, по прошествии лет можно бы пересмотреть отношение к отцу и фотографии. Но вспомните, что детская ненависть самая лютая. Попробуй подойди к нам человек, давным-давно попавший в орбиту детской ненависти, пусть даже обаятельный, как черт, с улыбкой яркой, зубами, как снег, и хризантемами в обоих потных кулаках — с холодком его встретим, если будем себе верны. А ненависть к родителю, если любви не случилось, — совсем без границ. Это все к тому, почему я отчества не помню.

Мама тоже была рядом недолго: на восьмом году моей жизни слегла от какой-то женской (не знаю латыни) болезни и скончалась скоропостижно на Ильин день.

То лето решило быть хрустяще-сухим и горестно-душистым, как цветки зверобоя на деревенских сушилах: дождей не случалось совсем. Не случилось и слез на щеках моих во время похорон матери.

Помню, как опускали ее в могилку. Зарывали. Сначала горстями с ладоней, потом большими черными комьями с нехорошо блестящих лопат — обычно, в общем, зарывали, но мальцу-то, мальцу семи лет, обычно ли?! «Маму закапывают», — постыдно легко думалось мне. Она лежала там — я знал — вон в том адски-смешном розовом ящике.

Мальчик стоял, растопырив глаза, сжав зубы, будто боролся с тошнотой; во рту под языком быстро накапливалась жиденькая, отвратная слюнка, и мальчик боялся, что она вдруг выплеснет на подбородок и ниже, на рубашку, которую мама купила незадолго до смерти, ему к первому сентября. Бескрайняя жуть вязкой смолой

пропитывала маленькое сердце, ставшее вмиг податливым для боли и пористым, как банная губка.

Люди же медленно отползали от могилы, как дождевые черви, будто боясь разбудить кого-то страшного и карающего за грехи. Того, кто, опомнившись, мог похоронить не только маму, но и всех провожающих — фальшивых друзей. Откуда взялись только... Друзья и подруги?! При жизни маминой, где были вы?

Потом все оглянулись. Как не оглянуться: ребенок, оставшийся наедине с бурым горбом свежей могилы, закричал — неприлично громко для кладбища. Противно гаркнув, слетели с соседних могил птицы, клевавшие хлеб и куриные яйца. Воронье, точно хлопья сажи от костра, поднялись на ветки кривых кладбищенских деревьев.

Кто-то высокий подошел к ребенку быстро, очень громко топча землю, в которой лежала его мамуля, и сказал: «Пойдем, сынок, нехорошо кричать-то».

Как?! Что сказали? Мальчик не верил. Я, я не верил ушам, не мог осознать, безболезненно уложить в уме, как Бог, страж детской справедливости, позволил этому человеку сказать такое. «Нехорошо»?! Как мог Он не убить говорящего на месте?! Не понимаю и поныне! Голова моя, казалось, гулко звенела, как перекаченный мяч, набрякла от упругого крика, заболели уши. Я схватил «мяч» руками, поднял глаза, увидел отца и полетел куда-то вниз, цепко поймав родителя взглядом — на память.

Не знаю, откуда он взялся. Отец стоял передо мной такой же, что и на фото, только теперь некогда бодрые абрикосовые его щеки, чуть сморщившись, опустились ближе к подбородку. От шикарных замшевых ноздрей вниз шли две крупные борозды, и, огибая рот, они терялись где-то в щетине. Будто то были волны от бороздящего океан крупного отцовского носа-фрегата. И карманы... Карманы теперь не оттопыривались на груди, потому что он был в футболке. Дико желтая такая футболка, с черной кляксой на груди. Про Маяковского я тогда ничего не знал, чтобы сравнивать. Да и при чем тут, в конце концов, Маяковский?

Через неделю отец снова исчез. И вот спустя годы задаю вопрос: может, такой человек никогда не существовал вовсе, может, я придумал его?

* * *

Достался сирота на воспитание бабке — сухой старушонке с протезом правого глаза — неродной, но такой теплой и добродушной, какими у родных бабушек быть не получается. Сгорбившаяся к концу жизни так, что в профиль представляла собой почти замкнутый калач, она говорила мягко, как ходит кошка. Гладила меня, маленького, нежно по голове сухой рукой с синими нитями вен.

Когда я вырос до нынешней высоты и стал перемещаться по дому тихо и в наклон, как смиренный богомолец, уберегая лоб от низких косяков старого дома, бабка тянула руку, как отличница на уроке, и просила меня наклониться. Гладила по упрямым моим вихрам. Нежно, как мама. Милая, седенькая, не роптавшая на жизнь евреечка. Померла в прошлом году: рак, кажется. Не плакал. Может, и заплачу от чего — жизнь длинная.

* * *

Работаю в дышащем на ладан ателье ритуальных услуг «Калинов мост», что недалеко от Среднего рынка. Делаю венки на заказ. Прилаживаю к искусственным елочкам черные ленты: «От родителей», «От друзей», «От братвы» (как в том анекдоте: «От чего умирают люди?» — «А вы на венках почитайте»), а однажды многозначную: «От Оли, прости меня, Коля».

Работа в целом неплохая. Иногда кормят кутьей, а для меня это самое лучшее. По трудовому контракту сотрудников ателье хоронят бесплатно, так что за будущее не тревожно. О работе либо хорошо, либо ничего, верно?

Хорошо: размеренный труд в атмосфере тишины и особой торжественности. И коллеги соответствуют — тихие, молчаливые пенсионеры, трухлявенькие березовые пни с чагами-бородавками. Даже не ворчат про то, что жизнь вокруг не та, что прежде, о том «когда же о людя́х думать начнут, с... эдакие», не услышишь и про болезни. Разговоры о Шолохове, Марксе и Маркесе, о смерти Моцарта, про русскую идею и безыдейность таджиков (неправда это, идей у таджиков пруд пруди), про непунктуальность автобуса шестьдесят четвертого маршрута (это да). Редкие экземпляры, философский пароход современности, а не ветераны никому не интересного теперь советского труда. Спокойные, укрытые пледом памяти старики с лицами цвета их драповых пальто. Не подумайте дурного, коллег я уважаю очень. Мне до них семь верст говном плыть.

Правда, есть проблема, не без того.

Владелец бюро, Домовинов Велимир, стал вдруг недоволен скоростью моего производства. Он мне сам сказал недавно. Подошел, значит, и тихо выпустил словесного воробьишку, даже усы не шевельнулись — любит, чтобы к нему прислушивались, на голос не берет. Я, дурак, взялся оправдываться: так, мол, и так, «работаю на пределе сил», а кроме прочего, обронил неправильное слово. Свысока както вышло.

«Коли мы с вами, Велимир Ионович, — говорю, — коли уж взялись отправлять усопших в вечность, так давайте учиться не жалеть времени».

Ляпнул, не подумавши. Но Велимир Ионович промолчал. Надо отметить его выдержку: не орал, крышкой гроба не бил и по мрамору не возил рожей. Посмотрел лишь на ладный мой венок и пошел. В отдел кадров, думается. А куда еще, если вверх по лестнице? Каблуки его тяжелые «тук-тук», «тук-тук». На площадке меж этажами Велимир Ионович, местный зубр ритуальных услуг и внучатый племяш старика Харона, крякнул, будто с сердцем чего — пенсионеры наши аж напряглись, — и снова «тук-тук», «тук-тук».

* * *

Вечерами гуляю по мосту. С берега на берег и обратно. Если вы поздно возвращаетесь домой на машине, могли меня видеть, выкидывая, например, окурок в окно: куртка с капюшоном и зонт на случай дождя, на ногах — чаще ботинки, реже — сапоги из желтой резины. Мудаков по мосту ночами ходит мало, так что это точно я был.

Ночью, после прогулок, когда вдосталь наговорюсь с ночным городом, я пишу. Стучу по гальке клавиш об одном из сотен неизвестных поэтов Серебряного века. Город десятка крепких купцов и тысяч вечных подмастерьев, Нижний Новгород, в черно-белое то время броневиков и красных повязок надежно прописал в вечности лишь одного из своих пасынков (позднее назвавшись его неприятным на вкус

именем) — прочих оставил в холодной, неуютной безвестности, с одной лишь регистрацией. А их было достаточно, прочих-то.

Вспоминаю я самого выдающегося и яркого из всей литературной братии красного Поволжья, ну просто ярче звезды полярной и более выдающийся, чем Михалков Никита. Вру, конечно. Никчемный он был, неизвестный, очень пьющий, развратный и сомнительно, что поэт. Вряд ли слышали. Мирон Мороков. Не знаком? Ну, вот видите. «МирМор» — подписывал он редкие, печатавшиеся в местных газетах стишки и статьи сомнительного содержимого.

Валя, Валя, Валентина,
Ты почто со мной крутила?
Мне ты честно ли давала?
Или чтоб не пропадало...

Вот это его, простите великодушно. Ну, куда годно? Но, справедливости ради, там иначе никто не писал. Революция, как говорится, на земле и в небесах.

Так для чего я занимаюсь этим бесполезным и не предвещающим дохода делом? Справедливый вопрос.

* * *

Старый наш дом, кивающий крышей в сторону Волги, трухлявый и серый, приросший грибом-чагой к Почтовому съезду. Там и нашел я кое-что на чердаке. Тонюсенькая тетрадь в негибком рыжем переплете. Беспрестанно чихая, откопал ее из-под пыльных прялок веретен и сгнивших черенков лопат, когда ребенком лазал, где не надо, тревожил пауков в загадочном мире под крышей. Червонцы, кажется, искал царские. А нашел чужую жизнь, легшую не в архив, а в пыль чердака. Про червонцы подумал: бабка перепрятала. В самом деле, не могло же их не быть, червонцев-то! Тетрадочку пролистал и откинул. В печку бы бросить, так нет, бес попутал — осталась.

А когда переезжал с Почтового съезда (с год назад было) — нашел тот самый дневник в одной из коробок своего скарба. Прочел, что прочтению поддалось — дюже неразборчиво написано, да и чернила потускнели очень — и с тех пор не могу отвязаться от этого негодяя. Простите, но он меня измучил, Мороков этот. Знаете, сил нет. Он не кажется мне интересным и достойным восхищения — напротив: сразу пришел вывод, что дневник писал ничтожный, пошлый и неприкрытый в своем безобразии тип. Не сомневаюсь почти, таким он и был. И наглец этот теперь требует моего внимания, настойчиво так теребит, как капризный малыш мамку в «Детском мире». За что мне такая радость выпала?

Трудно контролировать мнения о нем: непостоянны, как летняя погода. Как невозможно понять многоликое его время — двадцатые, кровавые и святые, развратные и аскетичные времена. Поди его пойми, время-то прошедшее, когда в современности ни в зуб ногой.

Ну, а Мороков... С ним тоже не проще, хотя, казалось бы, чего сложного. Вот мне представляется, что Мороков тонкий и ранимый, и я пишу: «...в один из чер-

но-белых (местами — красных) вечеров он почувствовал смерть, сжал раскаленное сердце, Данко поволжский, в обожженных ладонях, забрался на чердак дома на Почтовом съезде и опочил, притворившись тонкой тетрадью». Уже в следующее мгновение я говорю себе: «Ну чего наворотил? Переписывай». Рву либо комкаю — бумаги извел уйму.

Заснувший на чердаке дневник есть единственная рамка личности Мирона Морокова под моим пунктирным взглядом больного конъюнктивитом. И тетрадь слишком тонка, чтобы целиком узреть человека, жившего сто лет назад. Попробуй-ка воскресить бабушку или прадеда по одному или нескольким письмам. Один туман получится. Ладно, если фотография имеется, тогда туман заимеет некую форму, войдет в контуры, и вы робко спросите: «Бабушка?» или, там, «Дед, ты?» В ответ тишина, скорее всего, но мало ли...

И еще терзаюсь: как записи Морокова попали под прялку моей неродной бабки? Одному Богу известно, но Его не разговоришь за бутылкой водки.

* * *

Все биографы наивны, как дети. Они думают, что жившие сто лет назад были предметами незамысловатыми, как удочка из бамбука. Человека же современного без сомнений считают механизмом сложным, вроде адронного коллайдера или чего там еще навыдумывали. С чего бы такая эволюция? Удочка-то изменилась с тех пор, а человек?

Еще биографы убеждены (спорить с ними не моги), что все живущие принадлежат своему времени, как мясо колбасе (или что там сейчас принято в кишку заталкивать). Я не менее наивный, но убежден в другом: современность окружает нас, как РККА шестую армию. Морозит, также обстреливает и не щадит. И дальше аналогия: нас тоже берут в плен, сбивают штыками в плотные нестроевые кучи и показывают по телевидению рожи наши худые и ладони с третьей степенью обморожения. И поднимаем мы эти ладони над головой так, будто изображаем зайцев на утреннике. Улыбаемся, а как иначе.

* * *

Ночью на мосту никого, то неудивительно. Лишь однажды встретил я тут человека — сразу захотелось знакомиться. Он рядом с перилами стоял, положа левую руку на железо. Голова его была вздернута вверх, будто от сильного удара по лицу, рот открыт, как у галчонка, — человек совсем не двигался. Я долго рассматривал незнакомца, пытался спросить что-то, щелкал ему возле носа — без реакций. Поднялся на носках и заглянул ему в глаза. Глаза те обращались к мутному темно-серому небу с важными, очевидно, вопросами. Надо уходить — решил я, потому что осенило: парню хорошо, он, может, в нирване или где там абсолютная свобода обитает, а я тут с глупостями. Река тянулась влево, как долгий черный слизень, и парень этот на мосту под этим безнадежным небом в одиночестве... «Понял, понял», — зашептал я, внимая тайне, и попятился. «Исфиниите», — и прочь быстро пошел.

Если встретите такого, прошу, не трогайте, не выдергивайте незнакомца из его родимого «хорошо», не лезьте не в свое дело. Обворуете ведь его, «скорую» вызвав. Я знаю, вам бы только вызвать кого. Поймите, такие видят смысл в контрасте, и когда заря загорится на небе, человеку на мосту, точно говорю, с хрустом на-

ступит на пальцы ног его «плохо»; если же «разбудите», то «плохо» придет тотчас с пробуждением. Для таких людей есть только «хорошо» и «плохо». В чистом виде, без примесей.

* * *

Машин все меньше, и каждая хочет меня подвести — жмутся к тротуару, по которому шагаю. Луна, начищенный медный таз, катится за мной. Когда я поворачиваюсь к ней лицом и стягиваю капюшон с макушки, таз останавливается — делает вид, что ко всему равнодушен. Иду — Луна следит. Сегодня она уверенней: сбросила с глаз челку грязных облаков и не прячется за углами зданий.

Прохожие — редкость. Тем интереснее думать о том, что привело их на проспект в такую пору. Клянусь, все тут не случайно, клянусь, все они непростые люди! Одни часто попадаются мне на пути и чуть заметно, будто боятся меня рассекретить, хитро подмигивают при встрече. Отвечаю. Другие спрашивают сигарету, хотя знают, что не курю.

Звуки громки, и я извиняюсь перед ночью за шум от меня. Мелодия домофона, шарканье шагов на неосвещенной лестнице, скрежет ключа в скважине дряхлой двери съемной моей квартиры. Здесь, за порогом, проще: обидчивая ночь осталась снаружи. Тут лишь стол и бумага. И мысль одного человека, наполняющая мою голову: «Что начинается гневом, кончается стыдом».

## 1

— Мария! Ма-арр-ийааа!
Клянусь, так надрывно и безнадежно могут призывать только Богоматерь.

«Мария!» — кричит Мирон не матерь Божью, а сестрицу свою, и глаза льют на гимнастерку июльский дождь. И нос его теперь не знает и не хочет высоты и гордости. И уши его не желают пения птиц и шороха лесов. И кулаки стучат в деревянное: гулко, как весло о лодку. А деревянного вокруг хватает.

Мария — душа — утопла в Сундовике-реке, что гнется подковой за большим селом Кириково. Малая, вертлявая да худая речушка, но кто ищет глубин — найдет и в ручье. Братец Марии, Мирон, ушедши лета два тому на германскую, ныне явился. По всему видно: убег с фронтов дезертиром. Придя, брат не нашел сестру живой. Дороже не знал человека Мирон. Отныне ж не будет для него горше вести, чем весть о Марии.

Месяц июнь — жаркий месяц, спору нет, но застудил Мирон сердце первым глотком мирной жизни.

Наган-то у Мирона не такой слезливый. Он сухой и морозит хозяйский живот сталью своего тела. Револьвер верен горю хозяина и без жалости выгонит из себя весь свинец во имя тоски по Марии. Невзирая на то, что он, наган чекиста Морокова, не знал Марию, не ведает, кто она для Мирона, никогда не встречался с этой женщиной и даже не следил за ней из-за угла, хоть и случалось такое относительно многих.

* * *

Мирон искал причины и смыслы. Жаждал слов тяжелых, как удары в скулу в боях кулачных, что каждую зиму случаются на льду Сундовика. Но молчало все вокруг, к чему обращал он свой жестокий взор. Не раз спрашивал мать, в ответ лишь сухое слово попадьи: «Богу угодно лучших брать до срока». Сестрицу старшую, Марфу, мучил, сжав узкие ее плечи жесткими ладонями — душу вытрясал. Плачет, воет, аж сечет визгом уши, а не слова — видно, зареклась молчать пред кем-то. Отца допрашивал, как ревтриб офицера, — чуть до драки не дошло. «Не суйся, — говорит, — сам разберусь, когда утихнет».

Не может Мирон ждать, пока тишина и шепоты превратятся в спокойные разговоры о минувшем и вопли о потерянном и неспасенном. Нет у него сил на терпение. Деревню прошел аршинными шагами вдоль-поперек. Всех поспрошал, каждого настращал, а где не хватало сладу, доставал наган и размахивал им почем зря. Старухи охают, бегут пугливыми курицами — мол, ничего не знаем:

«Ирод треклятый, еще оружией трясет, охальник срамной!»

И Мирон не замечает ни знакомых, ни близких — будто не жил тут сызмальства, будто не вытаптывал здешние проулки босыми пятками. Все, все до единого, нынче чужие, хуже немчуры да офицеров, потому как Марию не уберегли. А батя — тот первый виновник.

Старики на селе просят табаку, а про сестру опять — не знаем ничего. По всему выходит: кто крест, кто кукиш за спиной притаил — вот он каков, вывод Мирона, потому как сейчас ничего, кроме гнева, в душу скорбящего брата не уместить.

Напился Мирон допьяна, лег в скирду за огородами и тревожно заснул. Диво: к стрельбе да залпам привыкший сон от шепота соскочил без следа. Говорили, кажись, у дороги. Вынул голову из сена, только увидал луну в грязных клочьях подвижных облаков, остальное тьма, как ни таращься. Шепчут промеж себя двое:

— Леска, откель прешься?

— Не от твоей, не бось.

— Да ты, видать, сам перетрухал! С ружем на свиданки ходишь.

— Время, Онисим, уж больно тревожное: еби, а знай поглядывай.

— Да, да... Мирон, бают, возвернулся.

— А что мне за дело?

— Встренишься с ним, поди, спознаешь дело. Бают, комиссар он теперьча.

— Комиссар... Подумаешь. Ну, кто про меня скажет, кто посмеет? Уж не ты ли, Онисим?

— Не болтай, чего не следует! Мне дела нет. А только шила не утаишь...

Ринулся Мирон из скирда, да ноги не держат — рухнул. Заревел он страшно, будто шатун, в темень перед собой. Вослед убегающим, мягко топающим по траве ногам. Оттуда, навстречу Миронову крику, треснул перепуганный выстрел — дело обычное для села, стрелять ныне не стесняются. Мирон оттого протрезвился даже. Достал наган и спьяну патрон пожег, зазря: в непроглядную ночь.

* * *

Наутро Мирон уж все знал, что хотел. Кто сгубил Марию и за какую цену. Оказалось, недорого: за похоть грязную худого человека — Саньки Лягушинского. Паскуда он, мелкий вор и битый бабник. Помнил Мирон: пацаном был, мужики ловили Леску в лугах, куда тот сбегал, и мордовали ногами, катали по траве. Суконную

его рубаху зеленили, кровавили, покуда сознание из Саньки вон не выходило. Был срамник ненамного старше Мирона.

Говорят, он теперь на селе не последний человек. Со злой усмешкой говорят. Дружок самого Петра — старшего из залетных молодчиков. Банда, значит. Объявились тут с месяц. Черт знает каким поганым ветром нанесло их, окаянных. Так зовут атамана: «Петр» — не смягчая, то значит: бояться. Из донцов он, говорят. И будто от рождения был слеп и недавно только прозрел — когда война по стране шрапнелью выстрелила. И будто пуля Петра не берет: кони гибнут под ним табунами, сам же цел остается — расстрел ему нипочем. Да разное болтают — всему ли верить?

Верить тому, что видишь. А видно что? С полсотни лютых с наганами да обрезами, под каждым конь — вихри враждебные и есть. Вот он, страх людской, в руке Петра: казаки и беглые солдаты неведомой народности, люди ничему не верящие, грабящие, ежели дозволяют, творящие свое, покуда власть не выглянет, не оскалится остро и горячо. Они — пальцы, сжатые в кулаке атамана. Захочет — разожмет: рассыплются лихие по селу, нарубят голов свистящими шашками, девок перепортят, что покуда целыми сидят.

А пожелает иное, уведет своих в другой уезд — на девственную потеху. Этому на тысячу верст в любую сторону чужбина: не терпкие степи да мазанные белым хаты, а чащи-непролазь и серые, в тени берез, избы. Чужой он человек. Хоть и русский, а смотрит волком. «Кацапы, мать-перемать» — после каждого слова про нас.

Живут эти охальники не в селе. Чуть поодаль от гумна встали лагерем. Душегубы кровушки пролили, сколько в реке Сундовик воды нет, а трухают в избах ночевать: мужик с топором нынче не расстается — за кушаком у каждого энтот «струмент» торчит надежно, обухом вверх. Никакими угрозами не отымешь у крестьянина единственного его оружия. Нынче прижалась к земле деревня, насупилась и смотрит робко, а порой в отчаянии решительно, из-за мутных окон. Каждый нонче настороже, каждый вытянул жилы на всю длину, хрустит позвонками и ожидает. Чего? Да жизни, которая хучь немного слаще этой.

Это у чекистов есть оборона помимо топора. И наган Мирона снова в руке хозяина: крепко сидит между большим и указательным в седле мозоли...

### Глава 2. Гордыня

Вот предо мной она, русалка. Выскользнула из денежного моря, испачкала офисный стул слизью. Не наша, речная криница — чужая мне тварь. Хитра, как черт. Такие не хоронятся от людей, напротив, живут в миру и пролезают сквозь плотные толпы вперед, за счет обтекаемой формы.

— Расскажите, пожалуйста, о себе, — она чуть помахивает роскошным хвостом, слегка касаясь моих ботинок, притаившихся под столом. Чегой-то вы притихли, ботинки? Только ведь смело громыхали по лестнице. Нечисти боитесь? Понимаю, мне тоже не по себе.

Отвечая на вопрос русалки, укладываюсь в две минуты. Пара слов — вся жизнь: от мук мамы до издевательств этой рыбины. «Родился... учился...» Руки мои влажные стыдливо прячу.

— Что так коротко и скудно?

— Да уж, не Лев Толстой. Жизнь не фонтан: не бьет разнообразием. Бьет, правда, кое-чем другим, но это нехороший какой-то фонтан получается.

— Вы пришли в рекламное агентство, так? Работать хотите у нас, верно? Мы продаем, так и вы продавайте. Я говорю, себя продавайте! Может, куплю.

— Сколько дадите? На рынке рабов белые давно не дефицит, потому много не жду, — горячусь отчего-то.

— Вы зачем пришли к нам? — плавничок гневно лег на стол.

Ботинки моим стало весело: к черту нечисть, разошлись в стороны, как корабли от пристани.

— А у вас мясо под чешуей красное или белое? И когда нерест? — хотел спросить, когда вошел. Спросил — она не ответила, должно, рассердилась. Ну и ладно, ушел.

Наши, речные и озерные, русалки — милые подруги. Грустные, горьковатые на вкус девственницы и блудницы. Когда уж совсем невмочь от тоски, мы идем к ним в прохладные объятия. На расстоянии руки тела их пахнут свежепойманным карпом, но, приблизив свое тепло к влажной прохладе, мы радостно и жадно вкушаем парное молоко их дыхания, трогаем рукой, что не следует. Водяницы в ответ обвивают нас в три кольца за ноги, концы их хвостов пушатся, как перья, — это они волнуются. Мы долго к тому привыкали. Целуем скользкие чешуйки. Особенно приятны те нежные — на животе, в месте градации рыбы и женщины.

Вдали от воды хвосты их обращаются ножками: круглые пяточки, не знавшие дорог, кожа — шелк, избежавший солнца. Мы любим тоскливых наших подруг до тех пор, пока страсть не сожжет истому, потом забываемся. До новой тоски.

Та, которую я повстречал сегодня, не из их числа. Чужие русалки. Хвосты их совсем не пышные, а аккуратно остриженные по глупой гламурной форме. Такие не любят, хоть и умеют много чего.

* * *

Господин Домовинов, спасибо за счастливую молодость. Штампом в трудовой книжке вручил мне в руки газету «Ищу работу». Зря я уповал на юмор начальника — забыл: чувство это у Велимира Ионыча атрофировано с пометкой «невыгодно». Нынче я в поисках денег: уж не до больших — а чтоб не сдохнуть. Нынче я в поисках места, где за малые потуги эти самые деньги — маленькие, но гордые — регулярно будут мне бросать. Как кость псу.

* * *

Эх, прости меня, Господи, не любишь Ты собак, что ни говори. Мы все видим, без участия, конечно, но все же примечаем страдание тварей Твоих. В старости собаки безмерно несчастны, а лапы их неизменно отнимаются, и не на чем добраться до ближней помойки. Старики человеческие тоже несчастны, но некоторые из них такого наворотили в жизни, что, может, и справедливо, что страдают. Хотя, говорят, Ты все простить способен, правда или врут? Господи, но почему присматриваешь за собаками через человеческое посредство? Пропадает же беспризорное племя!

Сегодня в нашем подъезде умер пес, старый блохастый друг. Лаял на всех во дворе, на меня — нет. Так мы и подружились. Я частенько подкармливал пса и пускал погреть старые кости в подъезд. Он, еле двигая ногами, провожал меня до остановки и всем псам в округе рассказал, что мы друзья. Издох под утро, должно быть.

Пес всегда ночевал на ступенях. Сегодня я перешагнул через него, обернулся и понял. Вернулся в квартиру, надел затертый армейский свой китель, взял пса, легкого без отлетевшей собачей души, а потом долго ковырял почву за сараем неудобным ржавым прутом. Земля тебе пухом, преданная мохнатая морда.

* * *

Так, работа... Что мы умеем? Венки я плел великолепно, на грани искусства. Мои веночки стоят по всем кладбищам города, прислоненные к монохромным гранитовым лицам, как самое дорогое, что может появиться у души после смерти. А вот торговать не умею. А чего умею-то? От Бога в награду мне графомания. Хвастать нечем, потому как трудно ее излечить или, как-то преобразовав, сделать профессией. Хотя у некоторых получается, иначе откуда бы взялись великие писатели, наши кумиры — люди, поднявшие свое радужное безделье высоко над головой, как стяг. Продавай себя, — сказала русалка, и я задумался.

* * *

После похорон собаки я снял китель, надел новые брюки, чтобы пойти на капище рекламной богини красивым жертвенным бычком. Щелкнув замком съемной квартиры (формальная процедура: дверь гостеприимно отворяется наотмашь от легкого удара коленом), вышел. На улице же — не успел и осмотреться — за правую штанину меня схватил пинчер. Карликовый, злой от непонимания того, зачем он такой: смешной да короткий. Пес будто долго ждал меня и брючину рвал с удовольствием, как свежую свинину. Я рефлексом пнул — жалкий паразит откатился к стене и взвизгнул.

— С... — без зла произнес я и оказался прав. Из-за угла вышла дамочка. Продолжительные ноги в лосинах, туфли на высоченных шпильках — женщина-циркуль: «Джесси, где ты, милая?»

Я, не думая о приметах, второй раз вернулся домой, заклеил штанину изнутри скотчем — и на собеседование. Ветер раздувал шикарные мои, пинчером обновленные брюки, ворошил полчаса чесанные на пробор волосы — двигал мои шансы на собеседовании ближе к нулю. А дальше вы знаете.

После кошмарного дня пришел в квартиру (язык не повернется домом назвать) растерянный, но решительный — точь-в-точь Раскольников. Стремительно нажарил яичницы с полуживыми помидорами, отчаянно посолил, лихо так отмахнул горбушку от буханки черного — как Григорий Мелехов головы многих своих разноцветных врагов — и сел писать роман. Так, сдуру.

## 2

[...наган Мирона снова в руке хозяина: крепко сидит между большим и указательным в седле мозоли. Верно говорят: «Пуля — дура», а про штык — врут.

И вот эти самые дуры чавкают в берег реки, схоронившей Марию. И стрелок считает: раз-два-три — скрипит резцами, ругает себя за расточительность. Два дня искал Мирон Леску — нашел на третий.

— Стой, Леска, не ерзай!

Пот покрыл лицо Мирона. Стоит он на холме, подставив макушку под полуденное солнце, и тратит патроны на Саньку. Не удалось подстрелить гада в селе...

Санька перемахнул огороды, пробежал полем, слетел, будто архангел, с холма, приземлился на черствые пятки, и теперь несется к реке, как ненапоенный жеребец. Мирон целится: глаза жжет пот, а козырек выцветшей офицерской фуражки не дает тени. Выстрел — промах. Барабан нагана завершает круг.

Леска царапает ступни о края засохших коровьих следов. Надеть не успел сапоги, ладно, портки напялил на кривые свои ноги — так бежал от Мирона. Ноги беглеца в крови — выжженная на солнышке глина, словно черепки разбитой кринки: кромки острые живо кожу от мяса отделят, если бежишь босой без оглядки. Лежал бы снег — прошел бы Сашка-баловник красными следами, охладил бы раны. Но какой снег — жара. Сашка бежал, потому как лучше совсем без ног, но средь живых остаться.

Смотри, вот уж кинулся в реку, плывет в прохладе воды, тянет хилое тело течением в сторону. Теперь точно спасен: утонуть себе не даст — энтот клоп живучий, а пули револьвера вреда уж не сделают.

С холма видно мокрую его фигуру — словно чучело в оборону от ворон в саду попа Сергия. Мирон скрипит зубами, все выцеливает, но стрелять более не станет — знает: впустую.

Постоял на том берегу Леска, посмотрел озорно сквозь сомкнутые ресницы и теперь, не торопясь, бредет к лесу. Стекает с рубахи на сухую землю вода.

— С-с... — шипит Мирон и кулак кусает. А со стороны пасеки уж топот коней. Пегие четыре жеребца несут на себе мужиков голые торсы. Вверх торчат карабины и трехлинейки, ровно пики рыцарей. Не рыцари то — голытьба казацкая, кои казаками на Дону назваться не смели, у кого в хозяйстве мыши с голоду вешались. А тут поглядите! Гордые воители. Волюшки да кровушки мужичьей хватанули, захмелев оттого.

Мирон не побежал: трехлинейка не наган — догонит и за рекой. Быстро бросил он револьвер с обрыва в прибрежные кусты, запомнил, где шевельнулись ветки.

Скачут кони по сухой земле, гулко стучат копыта, взрывая пыль на дороге, и контуры всадников дрожат в солнечном мареве. Жара... Страх хватает Морокова за глотку грубой рукой, потому как чекистов ныне стреляют, не спрашивая фамилий. Но стоит спокойно Мирон, во фрунт, и фуражку сдвигает к носу...

Молодой пегий жеребец толкает в козырек Мирона мягкой мордой. Фыркает, показывая ровные, как клавиши аккордеона, зубы — цыган не придерется. Дышит горячо и норовит лизнуть языком-рашпилем. На жеребце красиво сидит казак: фуражка — синий околыш — на кожаной макушке и усы по-донскому вразлет, шаровары, скатанные по колено босых ног. Остальные всадники — в солдатских фуражках, штанах, без рубах, с заросшими, редко бритыми мордами, один, что пониже всех, — с бородой-клевером. Казак также без рубахи: жилистое, свободное от волос тело блестит, будто маслом намазанное. Ногу перекинул, свесил обе по правую сторону откормленного жеребячьего живота.

— Ты тут воюешь? — спрашивает он с ленцой, в усы, будто не несся во весь опор на выстрелы, а ехал мимо, посмотреть, как струится на перекатах река. Смотрит казак в сторону опушки, туда, где недавно Санька, мокрый таракан, выползал на берег. Там не успела еще просохнуть глина, там лужица, натекшая с длинной рубахи беглеца.

— Да мне не из чего, мужики, воевать-то. Стреляли, тоже слышал, но не видал кто да откуда, вот те крест. Да и смотреть не думал: пуля, чай, не мать родна.

— Не из чего, гутаришь? — говорит казак, чуть заметно кивая своим. Бородатый выпрыгивает из седла и идет к Мирону для обыска. Чекист доверительно поднимает руки и через мгновение складывается, как брошенная тряпичная кукла, в малую траву — безбородый объехал чекиста на коне, коротко ударил в шею прикладом. Мягкое тело Мирона медленно, почти нежно, укладывают поперек коня, фуражка шлепает в желтую жирную пыль.

Всадники тихо потянулись в сторону лагеря, не торопя коней. Казачий жеребец виляет крупом, точно барышня. Безбородый, сваливший чекиста, пешком ведет нагруженного коня под уздцы. Руки Мирона пропускают меж пальцев пыльную траву, а бессознательная голова толкает носом бочковатое конское брюхо.

Бородатый задержался и обшарил наскоро берег реки под кручей: скатился по песку к берегу, прошуршал кустами, припал к воде, напился. Не найдя нагана, быстро по-обезьяньи забрался на холм, нагнал убредшего в сторону коня, ловко подкинул себя в седло. Резво стеганув в лошадиные пахи каблуками новых сапог, понесся по полю, поднимая пыль.

Боится, видно, кражи, потому не оставляет обувку в лагере, оттого не снял и в жару.

Фуражка чекиста так и осталась лежать на дороге. Овал более темного сукна на месте ненужной кокарды свежо зеленел. Наган же погрузился в воду и закопался в бархатный ил у берега. Любопытные пескари тыкают в шершавую рукоятку свои гладкие, бликующие губы...]

* * *

Что это такое, «журналист»? Мне объяснили.

Заерзал на столе мобильник: на звонке там что-то забыто-банальное. Не «Бумер», но в том ключе.

— Слушаю.

— Путимиров Невзор? — девичий голос, остренький, как очиненный карандаш.

— Кажется, он, — мой: утренний, хриплый и неразмятый.

— Вы откликнулись на вакансию «журналист»?

— Э-э-э...

— Так вот представьте. Карповский мост, ночь, гололед, авария, лобовое столкновение, две иномарки, погибли четверо — каша с мясом, редактор дает задание разузнать об одном; вы же не знаете адреса, имени, социального статуса, состава семьи, межличностных отношений с соседом, женой, свидетелей ДТП — как отстреляли — никого? Что делать будете?

— Сдаюсь.

— Нет, подождите. Вот вы пришли в полицию, чудом проскочили в кабинет к самому главному, говорите, мол, необходимы подробности такого-то ДТП, а он вам, извините, плюет в лицо, вы увернулись, но тем не менее ответа нет, спрашиваете еще, а полицейский начальник ваши карты кроет заготовленным штампиком, словно козырем: «Материалы дела предоставляются представителям прессы только по официальному запросу», и шлет вас уже культурненько, согласно законной букве.

— Девушка, не трудитесь, я в вас влюбился еще с первого предложения.

Вечером мы сидели в кафе. Она оказалась настоящим журналистом — я им стать не мог: у меня язык неподходящей формы. Она болтала без умолку, мне это пока нравилось. Кафе то было по-домашнему уютным, но дорогим очень — оттого чувствовать себя как дома я не решался. Скажу честно, не ходите туда, особенно с девушкой: после такого вот вечерка придется вам туже некуда затянуть пояс. Нет, если вы сын владельца этого ресторана, тогда, конечно, ходите, сколько папа разрешит.

Стены там обклеены обоями под старину, вместо стульев — клетчатые диваны. На стенах тарелочки «Гжель» и монохромные фото начала прошлого века: большие семьи, скромные солдатики по одному и десятками, неизменно одинокие позеры офицеры в позе «Лермонтов на Кавказе».

Выпив красного пива, я осмелел: неприлично развалился на диване и начал панорамный осмотр помещения справа налево. Небрежно слушал новую знакомую, пропускал пышные ее обороты. Она все говорила, говорила, не глядя на меня, а потом вдруг умолкла — я аж пивом подавился, посмотрел на нее — и предложила «сбежать».

Ох уж эти развратницы: мудрые, молоденькие, наивные и романтичные. Говорят о разложении морального облика, о социальной журналистике, которая призвана восстановить мораль, наоткрывать на каждом шагу институтов благородных девиц и учредить благотворительную акцию в помощь пострадавшим от сифилиса «Белые орхидеи». Говорят, говорят, а между тем «сбежать» для них самое желанное. Вот скажите, как в этих маленьких головках уживается столько враждующих тараканчиков?

* * *

Уже второе утро мы у меня и просыпаемся позже положенного. Второе утро лают собаки у соседей слева, в квартире над нами рычит перфоратор, и мне страшно, что упадет люстра.

Журналисточка, как вчера, вскакивает, срывая с нас одеяло, прыгает на одной ноге, напяливая джинсы, немного гремит посудой на кухне, затем уносится куда-то там, в редакцию, к черту на рога. Я, замерзая, лениво натягиваю на себя покрывало левой рукой, правую, как обычно, свело. Через пару секунд слышу нещадный хлопок моей бедной двери. Отвалится, и что тогда делать? Провозглашать коммунизм и кормить свободно разгуливающих по квартире кошек и бомжей? «Аккуратней, милая», — думаю, зевая. А через минуту журналистка возвращается — забыла поцеловать. Славно-славно. Потом исчезает с той же скоростью, образуя в квартире ветер.

Я медленно встаю, не заправляя постели, и накидываю аргентинский халат со сценой петушиных боев во всю спину — кто подарил, не помню. Запускаю затертый аудиодиск (непременно на громкости шестнадцать) с треками славянской музыки и в волнах грустной флейты заплываю на кухню. Тихая гавань: аккуратный крепкий причал — дубовый стол с резными ножками и стулья, маленькие копии старшего в гарнитуре. Меня можно назвать неряхой, но заглянешь на кухню — извинишься. Тут всегда порядок. Потому как кухня есть капище, а я при нем — волхв.

Знаете, трепещу всякий раз, когда готовлю кофе. Кажется, это самое доброе из дел. Любви в нем немерено, просто некуда девать! Но так восклицают лишь кофейные жрецы, чайные, зуб даю, считают иначе.

Ритуал, обряд, церемония — без них мы чувствуем себя неловко, будто стоим на людной мостовой без штанов. Любой, в кого не ткни, заводит себе маленький, но

свой обрядик. Милое сердцу язычество. Ты живо! Ты сочишься по нашим венам вересковым соком, с тобой весь год весна. Даже если на улице плюет нам в лица мерзкий пограничный ноябрь, в душах апрель.

И в каждом доме по волхву и идолу. Знай, вечером за каждым горящим окном сидит жрец, от него недалеко — предмет обряда. Будь то суп в белой кастрюле, просмотр фильма, чистка картофеля, скандал с женой, плановая порка детей или сказки на ночь, чистка зубов или супружеский долг, пусть даже вне графика. Каждая спальня, кухня, ванна, ну и туалет, конечно, — капище, храм. Знай и шагай аккуратней, когда ты в гостях. А то наступишь на святыню, загремишь какими-нибудь священными побрякушками и схлопочешь от волхва по морде. Или от жены евоной.

**3**

[Кто обидел кузнеца Федора? Да все те же.

Санька у пруда схватил жену кузнеца — Тосю — за мягкие полные груди, когда та полоскала белье. Надо сказать, Тося божественно водит крутыми бедрами при энтом занятии. Мимо не пройти. И от мостика, когда она его волнует ногами, полоща длинные простыни, всегда идут молочные клубы по воде, в то время как над тугой спиной Тоси, в облаке сладкого ее запаха, жужжат жирные слепни. Понять Саньку нетрудно: груди те, два нежных вымени, прямо-таки призывают к себе руки и рты, будто Тося — праматерь всех человек. Кузнец знал то не понаслышке и мог бы войти в положение, но по привычке поймал Сашку и бил кулаком наглую эту морду. Не рассчитав своей кузнечной силы, свернул похабнику набок загнутый, непригодный к драке нос.

А наутро пришли ко двору Федора трое: битый Санька волочился за двумя казаками, шмыгал, болезненно кривясь, и тыкал, указывая, пальцем в сторону крепкого Федорова дома. Коваль увидал гостей еще на подходе, потому как заглядывал в окна, ожидая жену от матери. Он, намереваясь встретить «друзей» хлеб-соль, сошел с зыбких ступеней крыльца, не забыв, однако, в избе топора. Ему с ходу, не спросив: «Здоров ли, хозяин?», прострелили ноги повыше колена, а затем принялись бить, поднимая пыль выше голов.

Кузнец стремился встать и упрямо поднимал голову со всклокоченными волосами и серую, в пыли, бороду. Но казаки каждый раз толкали его сапогами в затылок, от чего лицо кузнеца, страшно смятое, сочилось кровью. Мелкие соломины, камушки и куриный помет охотно прилипали к этому красно-пыльному месиву.

Соседи-то видели из окон, как ворочали по дворовой сорной земле Федьку-кузнеца, но никто выходить не спешил. Только лица бледными бликами мелькали по окнам, движимые зудливым любопытством. Интересно и страшно. Мол, могут и к нам зайти, ежели вдруг вступимся, к тому же сосед — человек нелюдимый и редко здоровается... К тому же плохо подковал моего коня в прошлый сев и много за то запросил.

Потом те трое, опьяненные кровью, желающие захмелеть еще и грязной потехой, рыскали по дому: искали Тосю. Залили жаднющей слюной тканые половики в узких коридорах избы. Не нашли, и Санька недовольно да звонко цыкнул зубом, дюже расстроившись.

Ушли. Тишина. Только клубится над бесчувственным Федором вздыбленная пыль да куры крадутся по двору и клюют собственное дерьмо.

Федора выходила, оживила вернувшаяся от матери жена. Лежит теперь он, не встает, как Илья на печи. Но не дай Бог оказаться Саньке близко, на длину узловатых, как корни деревьев, рук кузнеца.]

* * *

Выпил кофе, плюхнулся на взорванную постель. Хорошо. Прохладно от простыней. Тянет утопиться во сне, нырнуть в самую его глубь с зажмуренными глазами. Тянет смотреть на русалок, бьющих хвостами на берегу тихого лесного озера, зацелованного ими до смерти. И чтобы нас с русалками непременно окутала ночь, та самая, что ступает на Иванов день босыми пятками.

* * *

Выхожу в ноябрь, утираюсь от его плевков. Тут жуют ранний снег жуки-маршрутки. Просит кушать бедолага пес, стремится в друзья. Ну нечего тебе дать, милая скотинка! Бегают дети — всегда бегают; пусть, лишь бы в канализационные люки не падали, а то человеков из них не выйдет. В баки с мусором засунуты головы людей — это уж совсем обыкновенно, скучно даже. Один из них отвлекается от контейнера и глотает остатки своей жизни, элегантно повращав пивную бутылку за горлышко.

Вот плюй в разные стороны, а попадешь всегда в серость обычную. Ну как перевод с латыни: серость обыкновенная, подвиды...

К чему я?.. Ах да, плохо, говорю, на улице. Ни холодно, ни тепло — оттого потливо и неуютно. И кусочки киселя падают с неба. Ну откуда, скажите, там кисель?! Знаете, эту осень я не расцелую в сопливую морду.

**4**

[Бабка Рахиль из Кирикова-села не торопится. Года считает — словно листает страницы, и уж два века промелькнули мимо нее, третий вокруг кружит, а ей все нипочем. Сто тридцать лет ей от роду, и пробудет она на свете, сколько захочет.

Родилась Рахиль далече отсюда: в непролазных заволжских лесах, в коих звери и люди живут соседями. Где-то возле желтых вод реки Керженец, в семье кондового старовера. Во времена ее юности царевым указом жгли скиты и прогоняли раскольников из обителей по всему Заволжью. Тогда и переселились Моховы с клюквенных болот на наши озорные взгорки, замелькали по нашим улицам длинные мочалки бород нелюдимых мужиков-староверов. Эти пришли со многими телегами своего хозяйства, с лошадьми да скотиной — по нашим местам богатеями, считай, пришли. Но беспоповцы с табачниками не совокупляются, даже если грозит им смерть рода, и уж теперь от большой семьи, от корня древнего, никого не осталось, кроме той, о ком речь. Вот и все, что люди говорят про старуху по имени Рахиль, остальное — шепчут.

Ходит Рахиль по селу редко, но уж если выйдет — обходят селяне ее стороной да задворками, пугливо лезут через бурьян и репьи — торопятся в дом, под защиту икон Николая-заступника. Худая лицом Рахиль — чисто смерть, в черном платке,

выбеливающем и без того неживую кожу, идет старуха по пустынной улице, а матери тащат детей в избы. В церкви не встретишь ее, а ночами свет в старой избе: жжет лучину да свечи до самой зари, не жалея воска. Заглядывали в окна кто посмелей: стоит старуха на коленях, в угол смотрит, а в углу том икон в помине нету.

Шепчут, что Рахиль — последняя хранительница книги. Той самой, что зло заключила на грубых страницах цвета картофельной кожуры. Полпуда весом, золотой оправы, от руки выведены забубенные буквы. Шепчут, будто передается то писание испокон в женские руки, что ранее владела книгой мать Рахили — Мара. И тому, у кого в руках сия рукопись, даруется жить, пока не надоест, но с обязательством таким: читать тайное писание и пускать порчу на каждого, иначе не отпущенная на волю порча сойдет на хранительницу, и придется ей медленно и страшно кончать свои дни, стонами пугая селян. Оттого ни любить, ни детей рожать не дозволено им, греховницам.

И вот полвека, с той самой поры, как померла старая Мара, выходит Рахиль на крыльцо по утрам, едва роса успевает лечь на травы, с книгой той в руках и читает, водя по жирным строчкам кривым узловатым пальцем, шлепает губами, не знавшими улыбки. Затем запускает руку в старую суконную котомку, с какими шлялись по Руси хлысты-отшельники, и черпает оттуда болезни да горести. И, будто жито сея, пускает по ветру. А наутро по селу: у кого ячмень, у кого бельмо, у кого шишки мягкие, ровно девичьи груди, в подмышках гроздятся. Ну а кто помрет к вечерней.

И Мирона видела Рахиль, в похмельное его утро, и нашептала что-то, дунула затхлым ртом вдогонку. А что именно — узнается, когда время придет.

### Глава 3. Сребролюбие

Искренне не понимаю, почему мне нужно работать. Не легче ли дождаться томного июля и в ночном лесу сорвать папоротников цвет. Богатство, почет и благодатное безделье ждет глазастого счастливца. И не говорите потом, мол, с неба свалилось незаконное счастье — нашедший знал, что найдет, а вы — нет.

Вера-то и есть одна из основных причин. Счастья, чаще — горя, реже — денег. Говорю за себя.

А о чем, собственно, я говорю? Бред! Ведь надо работать, надо чем-то занять свой ум, во что-то вложить бурление души и зуд тела. А от безделья лишь бессмысленное урчание в животе да идиотизм во взгляде. Ну и хватит об этом.

* * *

Вчера звонил друг. Предложил поработать в школе — глупость ляпнул, не подумав. «Учителем истории, — говорит, — пойдешь?» Поблагодарил, конечно, и говорю, мол, надо встретиться, напиться да обсудить детали, если потребуется. Он одобрил, конечно, потому как ему упорствовать совсем не к лицу.

Тем же вечером пили, и друг сам, без подсказок, понял, что предложил мне нелепое. Спрыгнули с этой темы на другие, более алкогольные. Вспоминали школу, снова делили отличницу Таню.

А потом, дома, я трезвел и думал о преподавателях всех мастей. Эх, интересные люди, жрецы тоски!

А уж профессора нижегородских университетов, эти первые в очереди на психопадение. Замдекана кафедры «История религий» Никон Василич Петров сошел с ума года два назад. Все это время он преподавал в университете. Ничего страшного — там никому дела нет до душевного здоровья кадров. Нам — есть, и мы не умолчим, потому как неравнодушны к судьбам знакомых. А то взяли моду: уж если псих, то и сказать о нем брезгуют.

У Никона Василича померла жена. От скарлатины, что ли. А может, надпочечники чего — не знаю. Факт, что горевал муж без сна и спокойствия. Одиночество — враг? Враг, — ответим твердо. Вот с ним-то Петров и боялся столкнуться. Детей у них с покойной нарожать не вышло — всю жизнь вдвоем. Но вдвоем-то не унывали, а вот одному и ночевать неуютно. Говорят, видения у него пошли, длинные какие-то тени замелькали по потолку хрущевки. Будто супруга приходила к нему каждую ночь, сокрушалась вслух о нерожденных детях. Это со слов сослуживцев, с коими будто бы Петров делился.

Профессор-то до смерти жены общительный был, смешливый, в походы там со студентами первый охотник, под гитару у костра песни попеть любитель, бывало, даже неприличные голосил, глазами сверкая. Веселый, в общем.

Это теперь на кафедре глупости болтают. Будто и смеялся-то он нервно, глазом, что ли, дергал, бормотал невнятное и лаборанток щипал за недозволительные места. Врут, как обычно. Я свидетель: хорошо смеялся человек, задорно, без патологий, а лаборантки эти, они сами кого хочешь ущипнут, особенно с той кафедры. Я свидетель.

Одиночество — враг, помните, да? Так вот после смерти супруги одиночество-то возьми и встань, понимаешь, за спиной Никона Василича и давай холодить профессорский эпителий почем зря. Вот и звякнуло, щелкнуло в профессорском мозгу, а волосы нездорово взъерошились и недобро завились над бровями...

Как-то по осени, на кладбищах города стали становиться порожними могилы молоденьких девочек, умерших кто от чего. Их всех нашли спустя годы. У Никона Василича, где же еще. В погребе, под гаражом, в котором никогда не стоял автомобиль. Профессор кафедры религий выкапывал тела и бальзамировал — благо знал, как это делается, из семинаров про Древний Египет. Потом чистил, накрашивал, пудрил, одевал и рассаживал девочек, как ему хочется, в импровизационной гостиной, под которую тоскливыми его руками был перестроен погребок. Полиция нашла там одиннадцать мумий. Или двенадцать? Помню, много. Я еще удивился: ладно одну-две, но столько-то зачем? Что профессор с ними делал, не знаю, да и, к счастью, нет интереса. Не будем порочить это имя свыше того, что знаем.

Никона Василича недавно, после суда, признали невменяемым. Год назад именно он был руководителем моей курсовой работы, и мне нестеснительно об этом говорить. Я и теперь к нему иногда прихожу. В дом с желтыми стенами, что на улице Июльских Дней. Нельзя забывать людей, которые несут свою тоску бережно, боясь расплескать. Считаю так. А выкапывал он там кого или волосы да ногти чужие на постном масле жарил и ел (тьфу, гадость!) — неважно, лишь бы человек хороший был.

Пришел я к нему на днях, мандарины принес. Никон Василич мандарины взял и говорит: «А как там, Невзор, дочки мои поживают? Небось замуж повыскакивали,

егозы мои любимые, и потому не приходят ко мне. Забыли папку дочки, а?» И улыбка у него взялась наползать дюже тоскливая, и слезы задрожали в глазах. Я, конечно, не стерпел такого взгляда и глупо на свои ботинки уставился: очень неловко мне стало. Ну, а что ему ответишь? «Поправляйся, — говорю, — Никон Василич дорогой». И пошел.

Вы вот слушаете, может, даже засмеетесь, повздыхаете — ради Бога, только не советую совсем уж расслабляться. Перефразируем одного персонажа: порой думаешь «все хорошо», а очнувшись, понимаешь, что роешь чью-то могилу. Будьте осторожны, заглядывайте в себя чаще. Нет-нет да наведывайтесь в гараж, не забывая в погребок спускаться.

### *5*

[Там за овином, сколько помню, манила и, подманив, безбожно кусала пасека. Отгонять пчел от лица, раздутого и мягкого, как коровье вымя, облизывать по локоть медовые руки — счастье, ежели тебе лет десять! Целовать животы девок, вымазанных медом даже в местах, где и без того сладко, — самое желанное в семнадцать.

Пчелы нынче разлетелись, а среди ульев — Петр и банда. Шалаши из еловых лап, курятся вокруг них усталые костры. Кони ржут да без пользы машут вениками хвостов, отбиваясь от одолевшего гнуса.

Мирона окатили из лошадиной поилки — не очнулся. Тогда казаки укрепили вязки на его руках и оставили ночевать у дерева. Уходя, широкоскулый и длинный, как колокольня, бандит, скучая, сунул в живот лежачего стоптанный нос сапога, от чего бесчувственное тело чекиста чуть дрогнуло и упало лицом в траву. Широкоскулый закурил, посмотрел в глаза солнцу, отпалившему уж на сегодня, и пошел к своим.

Чекист открыл глаза уже во тьме, только у костра мелькали тени. За ним наблюдали — Мороков чувствовал неприродное шевеление возле себя, за спиной, но сил развернуться не было: тело затекло от скрюченного бессознательного положения, от чего шея занудно ныла.

Через минуту его плеча коснулся сапог. Это был Петр — тот лысый череп под синим околышем, тогда у реки. Чекист узнал его, потому как в районном ЧК внимательно изучил словесные портреты основных уездных врагов Революции. «Петр Глыбов, подъесаул войск генерала Краснова... В 1918 в станице Богдановской в ходе подавления белого мятежа частями красных дружин случайно погибли мать и жена Глыбова и двое его малолетних детей...»

Атаман прислонил затекшее тело Мирона к черствому стволу. Поднес воды в большом ковше из гниловатого дерева:

— Ты хто есть?

— Мироном звать.

— Хде воивал?

— В Польше, в драгунах.

Петр уселся на каблуки сапог, выставив в стороны плотные брусья коленей:

— Ты, Мярон, почто стрелял в мово человека?

— Тварь он последняя, от меня все одно не уйдет.

— Кажи мне, подмогну, може, чем, — приподнялся ус, цвета пересушенного сена, и веселым бликом стеганул Мирона атаманов глаз.

— Отпусти меня, вот будет крепкая подмога.

— Нынче, брат, торговля правит, и какая польза мне в таком случáе?

— Ну и от смерти моей пользы тебе шиш. Напротив, может статься, пожалеешь. Торговля — верно, вот и считай: человека прикопать тоже труд, а кто ж сей подряд оплатит, а? — Чекист улыбнулся, без всякой, однако, веселости в душе.

— А я задаром, хучь землицу эту вашу неродящую удобрю малёха, — дрожа всем телом, заржал Петр на манер жеребца, аж сова подавилась в ближнем лесу — перестала ухать.

— Петро, отдай мне Леску, мне жизни нет, пока эта падаль по земле ходит. Я и на том свете его сыщу, но желательно б на энтом.

— Чем он, Сашка, тоби так насолил? Бабу, чё ли, обрюхатил твою, хга-га?

— Отпусти, и не увидишь меня боле, Петр. Я тебе за то слово скажу. Ты же умный, понял же, что я за человек.

— Падаль ты человеческая и потому сидеть покуда будешь. А поутру сымем кожу с тебя, комиссар, — зевнул Петро, выпрямил ноги и, оперевшись на локти, закурил, собою довольный. Далеко в лесу загорелся огонь, второй, третий... С десяток костров желтыми мазками на холсте леса. Оба видели это, и Мирон, сжав затекшие плечи, обронил невзначай:

— Гуляют, русалочья неделя.

Петр не понял.

— Скажи, чека, правда, ваши тут рыщут недалече?

— В Лысково прибыл на днях эскадрон ЧОНа, дополнительно мобилизуют народ. Села чистить отсюда зачнут.

— Ты, поди, напужать меня надумал этим. Мол, молись, Петро, упадет шапка с лысой твоей головы. Да только ваши за мной давно скачут, а я даже не тороплюсь, как видишь, от них тикать.

— Охота была пугать тебя. Ты спросил — я ответил. — Мирон расхрабрился, потому как понял, что у Петра нет особого интереса до убийства. — Да и не больно велика ты птица, чтобы за тобой скакать без устали. А теперь я тебя спрошу: Санька-то чем тебе дорог?

— Хм... Интересуешься, Мярон... В селе его терпеть не могут, потому Леска твой — лучший мне помощник и есть. Такие обозленные паскудины, псы плешивые, хорошо чужому служат, а своих бьют, тиранят, за бока прихватывают. Понял чё, нет?

— И сколько ты тут править удумал. Долго-то не дадут, решай чего-нибудь.

— Из мертвеца плохой советчик, так что потише гунди. — Петр шаркнул грубой ладонью по лысой голове. — Мне уйти, что высморкаться, сам знаешь.

Молчали. Мирон попросил курить, и атаман не отказал: сунул в зубы связанному самокрутку. Спичка осветила лица. Мирон сладко затянулся, а Петр — чтой-то на него нашло — быстро провел кинжалом по путам между рук пленника.

— Слыхал ты про Чувиль-лес, что за горой лежит? — потер запястья Мирон, снова хватнув дыма.

— Слыхал.

— Знаю, найти что-то хошь в лесу-то, — промолвил Мирон, покуда костры вдалеке стали гаснуть по одному.

— Грибов лукошко! — Петр заржал, сонные кони встрепенулись, привязанные возле еловых шалашей.

— Я сюда не просто так прибыл, тоже интерес имею до того леса.

— А мне шо за дело до червонных твоих интересов?

— Червонных... — хмыкнул Мирон и зашептал тихо, как трава шевелится в поле: — От слюва «червонец»... Слушай: экспроприировали мы добро у одного нижегородского купца. Стерлядов фамилия, може, слыхал. Домина у него роскошный возле ярмарки: колонны, три этажа, комнат со счету сбиться — как полагается буржую, в общем. Сначала, значит, выносили добришко, на подводы грузили... Вот. Потом начали стены простукивать, долбить на предмет тайников. Ничего. А был доносец, что, мол, есть закрома в тем дому, есть. Работали мы до темноты. Устали дюже. Закурил я, облокотился на барельеф один возле колонны — стена-то и сдвинься. Веришь? Добра мы там нашли на сорок листов переписи. У Мариса нашего, у морды латышской, рука устала писать, ей-богу, не вру. Серебра столового пуды, золотища: браслеты, перстни, подвески с камнями, ну всякой буржуйской сбруи валом, а средь всего — сверток серый. Я в шинель быстро сунул, в рукав — не увидел никто. Дома глянул: подробная карта уезда Макарьевского, даже родники помечены и колодцы в деревнях. А место возле горы Олением метками карандашными испещрено. На обороте печать царева министерства финансов. Узнал я потом — прошелся по архивам: экспедиция сюда была послана...

Долго говорили, и потихоньку стало светать. Где-то в селе заголосил петух, и Петр придвинулся ближе к Мирону. Так сидели они, словно два друга, брата ли, голова головы касаясь. А в конце разговора Петр сказал:

— Ступай, да только ежели сбежишь — найду и распну, как Исуса, знай. Иди, кацап.]

* * *

Хам ноябрь. Ну его к черту. Когда за окошком эта мокрая мразь, люблю ощутить тепло квартиры, холодные складки мятой постели, сухие, любовно скрутившиеся обои. Тогда тянет к родному: к кофе, книгам и унитазу. Лучше все сразу. Прелюбимейшее из мест — насиженный, нацелованный сортир. И читать лучше всего тут. Самые умные из писателей заплакали бы от счастья и умиления, узнав, что их книги читаются в туалете. Глупые обидятся, но им это не грозит: плохую книгу не возьмешь с собой в это тайное, интимное место. Только тут становится особенно ясным написанное, только тут думаешь, что вот-вот и начнешь жить иначе. За минуту до того, как вода унесет все лишнее, в голове сверкнет: знаю, как жить. Выйдешь, хлопнешь дверью — все исчезнет: показалось.

Безделье, пою тебе гимн! Что тебя лучше? Разве что любимое дело, воплотившееся призвание. Для меня, правда, это одно и то же. Талант безделья — самый редкий. Если бы про меня сказали: он настоящий бездельник, я бы зарыдал, как те умные писатели.

Знаю: писатели (не считая сатириков и фельетонистов) — жрецы любви и маринованных помидоров. Литераторы не пройдут мимо баночки таких солений. Эти мягкие шары, хранящие терпкий вкус, от которого дух захватывает, есть единственное материальное воплощение любви, если не знали. Их непременно требуется запить — да хоть водкой, иначе умрешь от любви. Сколько таких недалеких трезвенников сгубилось задаром.

Такие мысли приходят во время ленивого просмотра телепередач, когда рядом одна из любимых книг, на столе открыта банка — сами знаете с чем, когда пульт черт знает где, а подойти выключить — до паралича лень.

Вот что заставляет меня откапывать никчемного поэта из сухой и неподатливой земли истории? Я про Морокова, про того, который Мирон Евсеевич. Знаю одно: этот надоедливый товарищ жаждет моей работы, ему нужно воскреснуть через меня и мой труд. Сознаюсь не без краски на щеках, что потихоньку начинаю любить Морокова и временами жалею. Однако точно не жду такой судьбы в награду, не дай Бог! И пишу, мучаясь, иногда потея, для себя только, потому как Мирон Мороков не нужен современности. Точно говорю.

Впрочем, и я смотрюсь в своем времени неестественно — как мои венки, наивно жаждущие походить на ветки ели. Есть надежда, что когда-то кому-то (заметьте, сплошные «-то») взбредет в голову откопать и Невзора Путимирова (прости, Господи, за тщеславие) как еще более незаметного представителя эпохи бездельников, алкоголиков и финансовых аферистов. Последние, обратите внимание, как скоморохи, вертятся колесом и звенят бубенцами на причудливых своих шапках. Это они который год дают представления за нашими окнами, в тот самый момент, когда мы вдруг выглядываем из-за занавески.

Да черт с ними, со скоморохами, их время, что хотят, то и делают, а вот чего хочу я? Может, чтоб меня эксгумировали, образно говоря, конечно? Не потому ли я медленно, но верно эксгумирую другого? Открылось! И сейчас смотрите на меня, голого, смущенно улыбающегося, прикрывшего безобразие шляпой. Вам смешно, вы узнали мою жалкую надежду, а между тем, доложу вам, надежда моя сильна не менее, чем ее сводные сестры, оправданные железными фактами.

Ну а потом, может, кто денег даст за скорбный мой труд. Родственники у Морокова должны же остаться...

## 6

[— Федор, дай коня, без коня не управиться.

— Бери. Чепрачную кобылу, коня не дам, — бурчит с топчана.

С полгода назад приходил продобоз в село, увел Федор живность в лес, сохранил и от банды — добрый хозяин. Нынче обезножил кузнец, лежит и отгоняет от лица докучливых мух. Огромные, налитые силой руки просят молота. Они, машущие так, что ветер гуляет по комнате, являют собой знак, который должен понять просящий коня. Мирона впустила Тося, не успев надеть платка, и он невольно залюбовался, про себя кивнув Сашке. Хоть, как никто, знал чекист, что июльский этот, жаркий с утра день — Лескин последний.

А у дома кузнеца топчутся два казака, курят в желтые усы — эти от Мирона не отстают. Чекист знает, что волочатся за ним по пятам люди Петра. Понимает: если б иначе было — считай дураком атамана.

* * *

Жара прибила избалованную заботой огородную растительность к земле. Слепни раздолились — ползали по липким от пота загорелым плечам, жалили вволю, утоляя кровную свою жажду. Река же распутно манила всех. Без стеснения, томно искрясь, крутила влажными бедрами. День был не то чтобы весел — он хохотал, и солнце, перевалившее через плетень полдня, было ярким, как Революция, творимая под ним. Дерзнешь ли посмотреть ему в лицо, не смущаясь?

Петро тем временем поил коня. Гляди.

Жеребец размахивает густым ковылем хвоста, опускает нежные губы в воду, мотает тяжелой головой — с чем-то не согласен. Атаман не идет в реку. Сидит на камне — ноги по-турецки — поднимает раскосые глаза к небу. Отчаянному Петру жара не в досаду, а в слезную тоску по родине. Он смотрит в лицо солнцу, жмурясь. Видится ему крест. Атаман всегда считал это хорошим знаком, и дед его и отец так же думали.

* * *

Рядом с селом Кириково — деревушка Красная Лука. «Красотный изгиб реки», — так говорят, и то правда. Речка подставляет свой лохматый камышом бок большому бугру, на который, как на верблюда, уселась деревенька. Сундовик достигает в этом месте большей своей глубины. Тоните, мальчики, — горюй, мать. С бугра пускай по ветру крик — река отзовется, словно басовая у гитары. В омуте под горой по вечерам плещут хвостами налимы размером с десятилетнего отрока. И лоскоталки заплывают сюда: погубить жадных до любви юношей, попеть грустных песен. Деревня начинается почти у реки. Огороды подгоревшими оладьями лежат на склонах: от самого берега до бревен бань. За бревнами всегда жарко — от огня и любви.

От Кирикова до Луки час ходу. Через реку краем леса, поперек паханого полякаравая, снова вброд — смотри: вот он, чудный поворот реки. Когда Мирон приходил в себя у дерева, избитый и опутанный, — шлепали хвостами о воду, словно губами любовники, налимы в омуте под горой, а Санька парился в бане с бабой, в деревне Красная Лука.

* * *

Наган Мироном найден, вычищен, высушен и смазан, как надо. Токмо за патроны чекист в волнении: не промок ли, часом, порох.

* * *

В доме солдатки Тамары с утра ставни нараспашку: хилое тело Саньки не терпит жары. Потому что заросший он — чисто леший: торчат пучки-мочалки из-под рук, а над ребрами шерсть густая, ровно волчья. Ходит Леска из угла в угол — от жары в голову не идет мысль: как быть с Мироном, Евсея сыном. Обрез, сработанный из охотничьего куркового ружья, надежно воткнулся в угол у порога, будто и был задуман подпоркой. Обрез — ныне главный герой в думах Лягушинского. Поздно проснувшийся Леска за ним наблюдает любовно. Забыл прошлой ночью гладкие эти стволы у Тамары, в Кириково поутру пришел порожний. Потому и не смог ответить дезертиру на подлую наганную пальбу, ни разу не ахнул в сторону чекиста.

Тамара была в огороде. Опасно для кота она хлопает дверью в клеть. Усаживается на табурет Тома и начинает мыть в ведре молодую морковь. Под подолом видны белые и, Леска-то знает, скользкие ноги-налимы.

Леска сонно потягивается перед окном, портки сползают с тощего его зада. Душно Саньке. Садится на лавку у стола пред открытым красным окном и смотрит на село. Безлюдная улица, только кое-где у домов куры, словно просыпанные из кармана семечки. Собрала радушная хозяйка мило́му поутренничать на столе, но не

лезет в горло кусок. Открывает Сашка кран пузана самовара, в кружку журчит студеный чай из зверобоя. Пот катится по коричневому лбу, чуть задерживаясь в морщинах-ниточках. Маленькое личико Саньки скомкано в волосатый кулак. С носом вздернутым, мясным — кукиш и есть.

Тамара думает-гадает, надолго ли Леска пришел к ней жить. Ей хочется, чтоб надолго. И чего находят бабы в энтом черте? Полощет Тома кривую яркую морковь в размокшем дощатом ведре, утирает распухшими руками со лба. Жарко и ей.

Конский топот, ржание. Звонкий щелчок на всю округу, будто Онисим пастуший хлыст лихо закрутил в проулке. Гулкий удар о половицы — там! В доме... Тамара — в избу. Лежит Леска на полу, на пестрых половиках, разливается красное по лицу-кукишу, сочится за ухом на пол тонкая яркая струйка. Вместо правого глаза — кровавое озеро рядом с холмом переносицы, около черного леса чуба, щелочью вымытого вчера. На стол течет вода из отрытого самовара — переливается солнцем рыжий, как заморский фрукт, мандарин. Хозяйка стоит в дверях, в руке ее висят на зеленых хвостиках моркови — не смеет Тома вымолвить и слова. Играет ставнями добряк ветер, треплет землю по травяному загривку то ласково, то небрежно, как отец мальца-сына. А солнце ухмыляется ехидно: подумаешь, Саньки Лягушинского не стало.]

* * *

Телевидение придумал самый грустный человек на земле. Столько тоски не вместить реальному миру, в телевидении — пожалуйста. И еще сколько влезет!

Бывает, сидишь один-два дня, не вылезая из норы, потом вдруг встрепенешься и ну переживать: вот, мол, сижу, а там, в миру, непременно что-то происходит. Там у них танки в города входят, певицы мрут в ваннах, там роботы за хлебом бегают, а лабрадоры людей в шахматы обыгрывать начали. Жизнь кипит, а я даже пассивно участвовать отказался. И начинаешь себя гнобить за это. Толку от того, конечно, немного — быстро напьешься, и отпустит, но факт такой есть. Совесть моя, надо признать, согласна с обществом и болеет за него, как за футбольную команду, — тут, должно быть, не обошлось без взяток. Слышится повсюду звон монет, да как-то все мимо.

А сегодня нормально, ничего не гложет душу. Валяюсь вот на кровати, нежусь, словно патриций, и не чувствую себя забытым. Напротив, я забывающий. Телевизор не справляется с шипящими в словах, на стуле дымит кофе, плачут стекла в окнах, я неприлично раскинул ноги на кровати. А кого стесняться? В халате лежу, в том самом, на спине которого красный петух с мясистым гребнем никак не заклюет белого, растрепанного, как вытоптанная курица. Ставлю двести песо: в таком же халате Гарсиа Маркес ходит по дому и вспоминает грустных своих шлюх. От этого знания теплее, чем от масляного обогревателя.

На сегодня мне было назначено три собеседования, кстати. Но я не пошел. Я идиот, но у меня есть еще немного денег, на которые я куплю немного свободы. Завтра, обещаю, я поеду в Лысковский район, в село Кириково. Там Мороков, зомби неугомонный мой, давно чего-то ждет.

### *7*

[Про Чувиль-город много разного сказывают. Стоял меж Волгой и горой Оленией город, а теперь нету. От татар память о нем у стариков на хранении, где-то под седыми волосами, рядышком с воспоминаниями юности, возле дат смерти родителей.

Нет ныне города — лес дебрится, холмы горбятся, а на земле и меж корней, ровно зубы великанов, желтеют каменья. Верст на пять в любую сторону одинаков лес, людей тут сгинуло, пропало — не счесть, и никто искать не станет. Кладов множество в землице той — вот и ходит в Чувиль-лес надеждой ведомый народ.

Да только никому не даются в руки богатства. Оно, говорят, вот как происходит: как приблизишься к искомому, так пред глазами начинают скакать диковинные животные — не поймаешь. Но сказывают, коли изловчишься, в мыле от бега на прыжок весь потратишься да ухватишь такого вот быстроногого, отливающего золотом зайца, лису ли — богатство тебе откроется непременно и отдастся, будто девка на русалочьей неделе.

И живет там, властвует дух, старый как мир, Морок. Забредшего человека водит кругами да картины диковинные показывает. Что кому хочется. Мужику — девку красы неземной пошлет на пути. Обронит корзину мужик, рассыплет боровики: сидит молодка нагая у дерева и смотрит ласково, вся в томлении. Кто не устоит — домой не возвернется. И сколько их не вернулось — ой! Бабе Морок является в виде пригожего купца. В серебре да золоте он, яснооки́й, телом крепкий. Сладки речи льет да подарками осыпает —задабривает, значит. Находили таких баб в Чувиле-лесу — сидят, горемычные, по оврагам, за кустом каким или в траве высокой. Без рассудка они, бабенки те, но с улыбкою широкой и со многими «подарками». Не халвы большие комья в их подолах — лошадиного, иной раз лосиного дерьма большие кучи.

По деревням кличут того духа «негодный». Но уважают и задабривают медом да корзины, полные вкусностей, выносят в чащу — раз в год обязательно. Потому как знают: дух тот не дурак, с ним лучше дружить, нежели палачиться.

Негодный — хранитель кладов и особой истины. Это он стережет те две бочки с серебром и златом. Татары пожгли город Чувиль, снесли стены, людей русских кого побили, а кого в полон увели.

А было так. Познав о татарском войске, накануне штурма богатые купцы из города уйти решили, потянув с собой богатства — без него и жизнь не в радость. Эти всегда норовят на чужом горбу прокатиться, вот и тогда: гибни, мол, голытьба, а мы уйдем покуда. Разделили добро купцы на две кучи и в две бочки засмолили, на обозы погрузили и ночью вон из Чувиля. Но не пустил их Морок. Закружил, завертел подсказал дорогу — в топях сгинули. С лошадьми, телегами, дорогими одеждами и бочками — тяжесть великая, быстро принял их в свои владения Болотник-батюшка.

Много храбрецов да трусов, дураков да умниц пропало в лесу с тех пор. Бочки те

ищут. Не просто золото и серебро — говорят, власть и людской страх в них запрятан Мороком-духом. Пуще злата власти многим нынче хочется: Негодный знает, как не остаться в одиночестве и подманить, знает, какое желание на самом дне души у каждого лежит, подзабытое, но трепетное и жаркое.

* * *

А Мирон не врал Петру о кладе. Сговорились они в тот вечер вместе идти в лес. Не поверил бы атаман чекисту, да только все равно хотел уводить банду на днях. Опосля разговора — решил рискнуть. А вдруг дадутся в руки богатства? Тогда и жаркая Персия, и любая другая чопорная заграница любезно откроется и обнимет. Голоштанному-то в эмиграции худо, все знают.

Ну, а обманет чекист — Ленин с ним! Петр прыг в седло — и нет атамана. Черт с ней, с бандой, один уйдет: время подошло такое — одному сподручней.

А потом, будто судьба, Мирон пришел к нему в руки. Атаман давно искал проводника. Иначе зачем ему торчать возле паршивого пограбленного сельца? Без нужного человека соваться в лес глупо — знал Петро. А этот хитрый чекист знает места и, ежели не врет, карту имеет.

Но правду сказал Мирон про царскую экспедицию в Чувиль-лес. Четыре года назад то было, когда война с германцем только зачалась. Денег, видно, в казне поистощилось, коли решились древние кладовые тревожить. Взвод саперов да казачий десяток сгинули тут в пятнадцатом. И выжившие были, полоумные: кричали на манер животных и птиц, скакали, пускались в плясовую, то плакали, то ржали, будто жеребцы. Но слухи вперед сумасшедших идут: клад тот достали саперы и уже волочили по топким тропам тяжелые бочки: века и болотное нутро заменили в них дерево на камень. А по пути исчезли все. Один Морок знает, как там вышло.]

### Глава 4. Печаль, отречение от Господа

Ночью забросало улицы снегом. Еще темно было, когда отдернул штору — залюбовался. Город проиграл, ясно. Лежит, не двигается, сдавленно скулит «сдаюсь», будто наступили ему армейским сапогом на горло. Передвижения по улицам теперь — это беспрерывная русская забава «взятие снежной крепости». Зима, зиимаа-а, я думал о тебе, слышишь? Знаю, тебе плевать.

Январь — строгий и скучный старый шахматист, февраль — растрепанный и неряшливый спившийся писатель, жду вас в гости. Туповатый молчун декабрь деловито обосновался уже в городе. Трется толстыми боками о каменные стены и ест снежки размером с жопу снеговика. Пойду здороваться. Кофе только сварю, напьюсь до тепла в груди, и к декабрю.

Нужно на автовокзал, хоть режь меня ножом. Мороков, правильно догадались. Делать нечего, пробираюсь потихоньку к нему, к вокзалу-то. Пешком, только пешком. Смотреть, как барахтается город, как мокрые, полураздавленные жуки ползут по дорогам. Я со стороны посмеюсь, не полезу в эту похоронную процессию. «С глубочайшей мудростью и с любовью к людям все устраивающий и всем полезное дающий единый Устроитель! Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих...» Аминь.

Почему мы никак не подружимся с этим городом? Объяснимо, думаю.

* * *

Родился-то я в области. В городке, похожем на тот, куда сейчас стремлюсь. В Горький мы переехали, когда я еще в школу не ходил. С маминым ухажером. Она, бедная, тогда отчаянно надеялась на счастье. Маме бы взглянуть внимательно на объекты этих надежд, но она всегда смотрела в небо. Новый папа, лысый гриб подосиновик, скоро стал пить запоями: не выдержал, кажется, и месяца. Спустя полгода нас с мамой было нечем удивить. Однажды он развел костер на полу в зале, прямо на ковре, сам сидел рядом в растянутых трико, безумно мотал головой и пускал слюни на грудь, на тельняшку. Квартира едва не выгорела. Мама же не стала ждать, пока дым рассеется, пока гриб протрезвеет, а слюни просохнут.

Нас приютила Антонина Петровна — та бабулечка, потерявшая глаз на каком-то советском производстве. Трагедия с глазом, кстати, произошла, как я потом узнал, совершенно неожиданно, ведь Антонина Петровна работала на заводе бухгалтером.

Я не помню, откуда мама знала эту женщину. Знаю только, что Антонина Петровна пустила нас в свой дряхлый дом на Почтовом съезде, когда мокли мы под дождем со всеми вещами (один чемодан добра), когда надежды совсем не оставалось. «Ну, куда вы на ночь глядя?» — сказала Антонина Петровна. Действительно, куда? Мы заночевали и остались на несколько лет. Вот такие мы с мамой наглецы. А серьезно если, то бабушке этой мы стали очень необходимы, не меньше чем она нам. Старушка, может, нас только и ждала и оттого не помирала. Потому, наверно, в этой нашей «искусственной» семье всегда царили дружба и уважение, и в каждом беспокойно ворочалось чувство долга друг к другу.

У Антонины Петровны в молодости случилась великая любовь. Об этом знали все. Когда она рассказывала (каждый вечер) о Мишеньке, лейтенанте или капитане (всегда путалась) каких-то там секретнейших войск, одинокий ее глаз озорно переливался светом, как камушек агат. Даже будучи ребенком, я понимал, что «Мишенька» просто и грязно бросил Антонину Петровну. Что называется, «с особым цинизмом», однако она так не считала, возмутилась бы, если кто-то посмел бы сказать ей такое. Она упрямо и любовно покрывала давно случившееся плотным сукном минувших дней и романтики, рассказывая, каждый раз по-новому, историю своей любви. Тогда на образ Мишеньки нахлобучивались рыцарские доспехи и захлопывалось со скрипом забрало на шлеме. Когда она очередной раз мурлыкала нам о «золотой юности», держа в руке газету или вязанье, в доме начинало звучать танго тридцатых, честное слово. Та́та-тара-та, та́та-тара-та, та-та-тара́-та-та... Лишь воспоминаниями она жила и, кажется, была счастлива.

В общем, этой милой старушке Бог не дал ни детей, ни мужа, ни достатка, ни карьеры, ни Родины — словом, казалось, позабыл совсем. Он послал меня и маму, когда жизнь ее вплотную приблизилась к закату — будто опомнившись, пристыдившись, решил хоть как-то напомнить о себе, пока старушка не умерла, снарядив ее наскоро, чем пришлось. Ловко у Него вышло, вот посудите сами: если получилась семья — может быть, самая благополучная из всех случавшихся в трех жизнях, — значит, все не зря было. Потому важно помнить, что в доме на Почтовом съезде жизнь шла спокойно и тихо, будто в нем спали трое беспробудных сновидцев.

И мама уж больше не стремилась найти любовь. Гладила меня по голове и смотрела в небо. Мама тогда не могла знать, что смерть уже интересуется ей.

* * *

Город Ворсма. Произнесите. Почувствовали? Зуд в деснах, будто мясо застряло в зубах, — Вор-с-ма. Я там родился, и мама тоже.

В Нижний приехали мы из Ворсмы. Городское кладбище этого городка устланы, наверно, памятниками и крестами, на которых фото людей с похожими на мое лицами. Фамильные носы с горбинкой. Когда я громко смеюсь с поводом и без, кончик носа загибается вниз, будто его засасывает в рот неведомой силой. Вот, смотрите.

Такое наследство переживет века, точно говорю. Не без моего участия, надеюсь.

В том городе много, должно быть, и живых еще родственников. Ворсма перестала быть нашим домом не из-за мертвых, сами понимаете: мертвые и сраму не имут, и к живым у них, как правило, претензий немного. Не буду вспоминать тех визгливых скандалов, скажу лишь, что мама обещала не возвращаться в Ворсму никогда.

Я провел там несколько летних каникул, жил у суровой тети Наташи, горячо дружил с доброй и рыжей, как поздний подсолнух, двоюродной сестрой Элеонорой. Это были светлые дни и, несмотря на беспробудную темень, светлые ночи.

Помню, купался в реке целыми днями до синевы губ и, будто случайно, щупал под водой худые попы девчонок. И вечера помню. Вечера те незаметно оборачивались в темный плед ночи, шептали нам слова, от которых бросало в дрожь, пропитывали все вокруг терпким банным дымком, заставляя думать, что все на свете можно. Казалось, и вечер помогает, скрывая наши грехи, заставляя все забывать к утру. Последствий и вправду не было: ни наутро, ни через неделю — мы не знали, что нас не минует, не могли знать, что такое всплывает через годы, когда совсем не ждешь. Одним словом, ума у меня не было тогда. Немного приросло и позднее. Как говорил один мой друг, поздно покупать кубик товарища Рубика.

К родным в Ворсму не поеду — я за маму. Нет, если буду проездом, тогда обязательно сойду с поезда либо автобуса и пройдусь. Попротискиваю свою тоску меж низкорослых домов, многое вспомню. Но только если проездом.

Тут дорогу переходишь, не глядя по сторонам. Опасности нет, но мама, конечно, ругает. Мама же. Она не кричит, а так мягонько со мной, балбесом, беседует, мол, сам должен понимать, что нехорошо. «Угу, мам, понятно», и снова за привычные дела. А еще раньше зимой она везет тебя в садик на железных синих санках, из которых едва не выпадаешь на поворотах. Темное утро и холод до кости, но фантазия просыпается, потягивается во мне, зевает. И только непреодолимая любовь к маме не дает представить себя лихим извозчиком и закричать: эге-гей, залетные!

А когда ты идешь по городу — это чуть позже, но тоже бесконечно давно... В общем, когда по городу идешь в новых дутых сапогах — хрустишь снегом, и хруст этот эхом на всю округу. Это детская зима.

Лето же всегда взрослое. В Ворсме не боишься жары: город накрыт шатром древесных крон, газонно-тротуарное тело его расписано тенями стволов. Тополя текут липким соком, словно нежные девушки, березки галантно машут веерами веток,

как светские дамы, готовые научить всему. Взрослая пора для девятиклассников. Прыщи на тот момент сходят, и морды сладострастно лоснятся — эх, чуды в перьях! Летом, если видишь яблоки над забором, висящие на гибких ветках, — рви да кушай. Это мы знаем, а про запреты — нет. Что за запреты такие? Не понимаем.

Городской житель смотрит в маленьком городе брезгливо и хочет нам сказать (при этом он поднимает соколиный взор над крышами двухэтажных домов): «Эти малые городки, — начинает он на первой скорости, потом ускоряясь, — чахнущие старики, ждущие конца, коротающие дни в молитве». Остроумный. Мы не станем спорить — улыбнемся, отвернемся. Не расскажем такому о пряной прелести и вечной терпкой юности малых городков. Не покажем ему той волшебной любви, что живет тут испокон и не думает съезжать. От нее городской все равно задохнется, а мы ему того не желаем — пусть идет себе, любит помаленьку, практично, краем души.

Мы же достанем из старых могильных погребов банки с солеными помидорами, нетерпеливо откроем и станем есть, пачкая едким соком щеки. И запьем водкой — непременно так. И жить будем во всю душевную ширь — не умеем иначе. Для того и есть на свете маленькие городки, только им суждено вместить большие души. Так, думаю.

Город Ворсма — смущенная барышня, закрывающая стройные ножки длинной юбкой в горошек, рдеющая маком, когда на нее смотришь. Ворсма никогда не станет кокетничать с незнакомым, а про измену совсем молчим. Но вот живущих в Ворсме девушек это никак не касается. И парни тут пьют без долгих перерывов, не понимая, сколько в них силы и души. Однако жаль...

* * *

Долго гулял по снежному Нижнему, по городу Горькому. Не торопился и застудил ноги: ботиночки на тонкой подошве. Зашел в кинотеатр и сел смотреть заведомо глупый фильм про колдунов и летающих то ли ведьмочек, то ли упырих. Не вникал в сюжет, отметил только, что какие-то чудаки обоего пола парят и любят друг друга в воздухе. И, конечно, заснул. Мне такие фантазии только во вред.

Стою в темном зимнем дворе. Горит фонарь, опускает восковой конус света на свежий снег. Слышен скрип моих ботинок, позднее — гулкие частые удары в стороне. Будто копыта, думаю я, и чувство такое: нужно зайти за сарай, что любезно возник рядом. Из-за угла вижу: на свет выступает раскосый человек, сидящий на сером низком коне. Надо отметить, красиво сидит. На боку воина, волшебством закрепленный, висит колчан, стрелами полный, похожий на гусли, с другого боку видна рукоять сабли татарской. Шапку-треух серебрит падающий снег, будто краской с щетки. Ордынец тот одет в широкие штаны, и сапоги с хищными загнутыми носами воткнуты в медные стремена.

Чихаю. Во время, б...! В доску сарая в вершке от моего лица вонзается стрела. Вторая. Звенят, словно гитарные струны. Считать дальше, думаю, не стоит: если стрелы в тебе торчат, то не до арифметики. Свист со всех сторон — загоняй, мол, серого за флажки.

Я бегу, что еще делать, а сзади топотня жуткая. Гук-гук-гук. Оборачиваюсь лишь на миг, потому как долго рассматривать не дадут, нашпигуют грязными своими стрелами и фамилии не спросят, а еще споткнуться немудрено. Первым, кажется, скачет знакомец мой «гусляр», а может, не он — кто их разберет, азиатов этих. Отличаются только лошадьми. Как их только жены узнают, если им не все равно, конечно?

Там, где открылся из-под снега асфальт, басурманские кони страшно шаркают подковами. Не смотрю, теперь уж ясно: если не убегу, они из меня ремней, уздечек разной ширины понаделают, жилы на стрелы пустят, а мясо собакам — кому еще: сами есть не будут, я же не конь. И потому ноги несут меня на пределах человеческой скорости. Да на что я вам сдался, древние ковбои?

Конечно, падаю, потому что подлее, чем ноябрьский, льда не сыщешь. Вот те раз, спасу нет, как ноет нога — сломал? Эх, Невзорушка, распустил организм: он у тебя что хочет, то и делает. Не обессудь, принимай теперь смерть жуткую, лютую.

Оборачиваюсь, чего уж теперь. На меня несется десяток татарских воинов — как же, дело обычное. Скачут с явным намерением напрочь затоптать незащищенное мое тельце кривыми ногами низкорослых монголок. Смело пытаюсь заглянуть в глаза мучителей трудового крестьянства. И, стыдно сказать, встаю на колени и совершаю глупость: поднимаю руки вверх. Поза «мусульманин на молитве». Жмурю глаза. Неправда, душа не в пятки, а куда-то в район задницы спускается, когда страшно-то. Тут уж не до стеснений, говорю, как есть. П...ц пришел, встречай: хлеб-соль.

Грохот копыт вокруг, свист будто в ухо. Через мгновение свистят тише, где-то уж за спиной. Пронесло, что ли?

Смотрю супостатам вслед и истерический смех разбирает: конские задницы с заледеневшими хвостами, спины сутулые сверху, и, будто сразу без посредства между головой и шеей, на спины нахлобучены шапки, мохнатые и несуразные — предки наших ушанок. Трясется на татарах амуниция всякая: луки там разные, колчаны, сабли, конины кусок из-под седла выглядывает — как полагается уважающему себя монголу. Если верить Гумилеву (отчего не поверить?), монголы эти дюже не любят, когда их татарами норовят обозвать. Должно, черти узкоглазые, хотят казаться лучше, чем незваные гости.

Вот и не страшные вы совсем, горемыки, застрявшие в параллельном мире. Когда саблями не грозите, вы ничего себе народец, ордынцы. Только мыться не любите, потому и на морозе от вас не продохнешь, даже если полчаса назад проехали.

Поскакали куда-то, оккупанты, рэкетиры проклятые. Встаю со льда, не май месяц, а глаз оторвать не могу от татар — нервное, что ли? К стремени отставшего ордынца, вижу, привязан аркан, и что-то темное волочится по льду, весело прыгая на кочках и люках канализации. Тело в пальто, а может, в шинели и в одном сапоге, второй соскочил. Лежит вот, в метре от меня. Пропадают потихоньку во мгле спины татар, темное пятно шинели и голубая пятка.

Вот опять, кажется, нервное. Беру, понимаешь, и поднимаю сапог. Холодный, скользкий и кирзовый. Из темной страшной его пасти воняет смертью на расстоянии. Оно мне надо было, поднимать и нюхать?

Просыпаюсь: в зале зажгли свет, по экрану скользят титры, встают с мест сонные зрители. У меня свело ногу — ту самую, которую сломал во сне. И никаких татар — скукотища.

* * *

Не поеду я сегодня в Лысковский район. И завтра не хочу. Подожду, пожалуй, аромата весны либо ее саму, целиковую. Так решил я в тот день и пошел пешком к дому. Ну, решил, пошел, и нечего больше говорить об этом.

* * *

Добрую часть зимы я бездельничал. Расчет, последние деньги от Велимира Ионовича, кончился еще в декабре. В конце декабря я перешел на мгновенную вермишель и перепробовал всю линейку вкусов. Теперь могу любого бомжа компетентно проконсультировать, какой сорт сытнее, и за базар отвечу.

Какие-то деньги я брал у друзей, без обоюдной надежды возврата. Написал несколько дрянных статей в газетенку, в которой служила моя журналисточка. Статьи печатали, как вы верно догадались, благодаря ее слезным просьбам. Редакция платила гроши — за такую халтуру, на месте редакции, я ни копейки бы не дал — так что не в обиде. В общем, питался лапшой и ждал, жаждал весны: от нетерпения вытягивался ужом вдоль зала съемной свей квартиры и нервно хлопал хвостом по линолеуму. Похудел, порос бородой, как пень мхом, и испачкал уйму ватманов, полагая, что пишу картины. Лошади там у меня да люди с винтовками и дурными лицами, яблоки с червями, пчелы в сотах, гроб со стариком внутри. У старика в ногах гнездо, а в гнезде неоперившиеся птенцы вытягивают противные шеи.

Недавно отнес на помойку сие творчество. Бросаю, значит, в контейнер, а к нему тут же подходит бомж. «Чё за х... принес?» — с ходу огорчается он, сморкаясь в шапку, напяливает ее на сальные волосы и отрывает с известной целью немного от моего «холста» — там, где не так краской измазано. Если бы не классовая его ко мне ненависть, отчего б не поговорить с этим спившимся искусствоведом.

Я вообще-то комфорт люблю и кушать люблю вкусно, не подумайте. И пошел бы непременно на работу, но... Вот засела, понимаешь, в башке мысль, что нельзя ничем заниматься до того, как сойдет снег. Ничем не выбьешь, коли засела. Никого не слушал, и все советчики под разными предлогами разбежались, думая, что я, наверно, скоренько повешусь или отчубучу чего. Например, подбегу стремительно к губернатору, когда он увлеченно массы на...т, орет и рукой машет (как Ильич, только в другую сторону), и облюю новый его костюмчик. Или майонезом в него из ложки шлепну. Глупости! Где уж мне, с лапши той, сил набраться, даже первое кольцо охраны не одолеть. Да и губернатор наш мне вполне симпатичен: кругленький такой, с ушками оттопыренными, и глазки у него пуговками — ну куда лучше?

Подумаешь, разбежались друзья, и журналисточкой перестало пахнуть в доме. А на кой они мне все, ежели так быстро и дружно разбегаются? Как фашисты от гранаты. Поддержать человека не могут, а вот послать — за милую душу. А меня

ведь понять-то несложно, и если другу интересно, он ведь спросит: «Что с тобой происходит, Невзорчик?» А я не полковник Исаев, мне скрывать нечего, и на дружеский вопрос непременно пролил бы немного света. Сказал бы: «Ребята, от Советского информбюро: я в этот непростой снежный, лапшично-картинный период не просто дурака валяю, а созреваю для чего-то важного, потому погоди, не разбегайсь». — «Ах, вот оно что! — просияют друзья, ежели они настоящие. — То-то мы давно наблюдаем, что ты, Неврик, стал как груша: размяк и пожелтел щеками. А про “не разбегайтесь” это ты зря, обидно даже...»

А для чего зрел тогда, я не знал: себя копать — дело хирургически опасное, к тому же греховное и мало что дает, кроме похмелья. В общем, на друзей этих я обижен очень и теперь никого не пущу в дом неразутым. До свидания, славные посиделки, прощайте, попоечки в стиле «кто первый упадет», не бывать и маскарадам в венецианском стиле, когда неудобно пить водку в узкие прорези масок — конец, друзья!

Одиночество и антисанитария оккупировали квартиру (на кухне, правда, чисто, как на плацу) до конца зимы. Никто не приходил, не звонил... А потом письмо пришло, от кореша армейского. Адрес мой откуда-то узнал... Может, я сам отсылал, неважно. Коротенькое письмецо, на коленке написанное: что-то про «жизненные повороты», про «сколько лет, сколько зим». А сколько? Зимы две, не больше — у меня на икрах стертые сапогами волосы отрасти не успели, а у него «сколько лет...», ох, по-разному для всех время движется. У кого скакуном арабским, у кого улиткой ленивой — не знаю даже, что лучше. В конце письма значилось: «приеду на днях, встречай» и номер телефона. Не сказать, что я от одиночества устал, но письму обрадовался от души: все-таки человек из другой жизни объявился и жизнь ту с собой приволок и, как альбом дембельский, предо мной растворил. Рома, Ромчик, Ромарио... А фамилия? Где там конверт... Борисов, да, правильно:

— Рядовой Борисов!
— Я!
Сколько лет, сколько зим...

* * *

Нас трое было, друзей: Ромка, я и Солдатов. Потом Солдатов стал сержантом, и нас осталось двое, друзей-то. Как в той считалке про негритят. А тут вот, на фотке, мы втроем стоим у ворот части. Снег падает крупный, воротина правая, недокрашенная, просела, а мы, три солдафона-слона, улыбаемся. Постояли, поулыбались и бегом снег тот разгребать. Да... Не скажу, что уж очень славное время, однако яснее как-то было, чище, что ли. Знаешь, что служить тебе еще несправедливое количество дней, что только в идиотских ритуалах найдешь себе утешение. Станешь прокалывать календарь, поднимать выше шапку, потихоньку ослаблять ремень, а там руку протягивай и щупай — вот он, дембель, тот самый, неизбежный, пахнущий тополями и женским парфюмом, мягкий и податливый. Это как жизнь после смерти, только разница в том, что после дембеля тебя, независимо от греховного груза, встретит и обнимет Эдемский сад, пусть ненадолго. Кажется, это самая стройная на свете религия: за все время службы я не встретил ни одного, кто бы стоял в стороне от этого культа грядущей свободы.

* * *

Ромка приехал усатый, незнакомый, с сумкой «РЖД» на плече, в смешной меховой шапке. А под шапкой у него своя шапка — копна ржаных волос, закрывающая уши. Непривычно было увидеть его таким. Как, думаете, встречаются армейские друзья? Пьют водку, как первую неделю после службы, катают по полупустые бутылки, когда передвигаются по комнате, и неверными языками воскрешают каждый день, отданный Родине? Ну а мы играли в шахматы, пили пиво и вспоминали, конечно. Пиво из Ромкиной сумки помогло снова узнать друг друга. Мы вспомнили Солдатова, ефрейтора Миронова, сержанта Дубину, рядового Вайгача, который носил шапку шестьдесят второго размера. У Мишки, не в обиду ему сказано, голова как у монстра из фильма «Чужой». Однажды дежурный по части майор Мыльников, который, подозревали мы, родился уже выпивши, зашел в казарму, уставился на огромный шар солдатского затылка и произнес роковую для Мишки фразу: «Ну... се, бойчина! Об тебя можно поросят убивать». Это вспоминал Ромка, я-то подобные моменты где-то растерял, и было стыдно перед другом за свою память, для которой, как выяснилось, ничего святого.

И тут вдруг Рома загрустил и, будто закончив обязательную веселую часть вечера, стал рассказывать мне про жизнь и все три года, от дембеля до нашей встречи, уместил между двумя шахматными ходами. Правда, пива выдул литра два. Рядовой Борисов тогда запрокинул голову вместе с бутылкой, большой глоток кадыком туго прошел по его горлу. На губе Ромы заблестело пиво, и он начал, нехорошо сверкнув своим раскосым, немного захмелевшим глазом:

— Из армии пришел, через месяц женился — я писал тебе. Квартиру нам родители подарили, зажили, что называется, путем. Любил ее очень... И сейчас люблю. Меня дядька устроил в банк, зарплата там... Короче, хорошо зажили, с достатком, Невра, зажили. Ребенка решили завести, тянуть не стали. Получилось сразу, через срок родила Лена мне сына. Ванечка. У бабушки сейчас, родной мой. Счастье без всяких «но». Такое огромное, что радости полные легкие, даже с похмелья...

— Поздравляю с сыном, — буркнул я, однако, с тревогой.

— Погоди ты поздравлять... — раздраженно, но потом осекся: — Спасибо, брат, извиняй... И жили мы с ней, клянусь, душа в душу... Я ее тоже в банк определил, правда, в другом конце города отделение... Машину купили. А полгода назад — не поверишь! Не приходит Ленка домой с работы. Вот так... Я всех обзвонил, объездил: с работы ушла, когда нужно, в хорошем настроение — все обычно.

В милицию, в розыск. Месяц, второй, третий. Ничего. Я еще брата подключил, он в ФСБ у меня, и от них ничего. Понимаешь, ни разу за ней ничего такого не замечал, ни минуты сомнений она мне не дала — вот что страшно. Я тогда думал, что убили ее: попользовали и бросили где-нибудь на свалке... Да чего только не передумал долгими теми ночами! Носом рыл, в отпуск ушел, искал, в ментовку ходил, как на работу, надоел там всем до чертиков.

А неделю назад — год прошел, Невзор, год! — звонят мне и сообщают, что по паспорту жены был куплен билет Адлер–Москва. Я, конечно, бегом в Москву, брат со мной, корешков московских подключил... В назначенное число мы на вокзале, на перроне ждем. Меня всего колотит, будто в барабане сижу, ничего не соображаю, курю одну за другой. Думали, что там не она, что по ее паспорту... А из вагона выходит Лена собственной персоной. Остолбенел я, поначалу обрадовался, но чувствую: черное что-то на душу наползает... Мучение, одним словом. Все с ней в поряд-

ке: чистенькая, ухоженная, одета хорошо, а с ней два мужика. Я было вспылил, но брат сдержал: подойди-ка, говорит, побеседуй с ней. Мужиков этих они приняли сразу, потом отпустили, правда: не при делах они оказались, попутчики. Я с Леной-то разговариваю, а она не узнает меня, понимаешь, Невзор, будто не видела никогда, смотрит как на незнакомого человека, как на прохожего... Ничего не было в моей жизни ужаснее, брат! Потому что самое ужасное есть самое немыслимое, а вот этого я понять никогда не смогу! Как это человек такое может... Что это такое...

Домой привез ее, Ваньку ей показываю, а у нее взгляд чужой, слышишь, Невзор, чужой — сын ведь родной, плоть и кровь ее...

Рома плакал. Я тихо спросил:

— Где она сейчас?

— Не знаю, — сказал Рома, заглотил пива и пошел конем. Он больше не вспоминал о жене, спросил только, верю ли в Бога. Потом выиграл у меня партию, пожил еще два дня и уехал. Было тоскливо смотреть на Рому, его история причиняла боль, и от нее шел неприятный, химикалийный запах неведомого. Я слушал его внимательно и поймал боковым зрением отблеск того тусклого синего огонька, что просвечивает сквозь узкие щели человеческого бытия, сквозь бреши на стыках стройных законов, общественных устоев, мотиваций и нормированной, вдоль и поперек изученной психологии. Мне тот свет не понравился.

Борисов был проездом в Казань — по работе. Я проводил его в понедельник до поезда и сразу вернулся домой. В квартире опять воцарилось одиночество. Дембельский альбом захлопнулся, и я чихнул от пыли, взлетевшей с его плотных страниц.

Мороков не звал меня. Не звал в хрустальном декабре и бодром январе. В начале февраля, кудрявого своими метелями — тоже не звал. Заревел, застонал брачным кличем лося, потянул меня к себе — в конце месяца. Мирон хотел, чтобы я встретил весну у него на Родине. Отчего ж не встретить на его, коли своей Родины Бог не дал.

## 8

[В церковном проулке возле двух крепких амбаров — дом стихаря. Амбары нынче пусты, туда не ходят даже мыши, а изба теряет былую лепость — ветшает в отсутствие прежних богатств хозяина. Нижний этаж из камня, верхний — из кондового леса. Такие срубы, когда горят, тлеют долго, как лучина. Десятиоконная лицом изба. У бедняков и красное окно из слюды, а у иных — из пузыря бычьего, у Евсея — все из стекла, даже дворовые окошечки. Просторные в его доме, зимой теплые, комнаты.

Теперь топят нечасто, лишь на первом этаже. Однако в зиму быстро поредела, не пополняясь, поленница на задворках, телеги стоят во дворе, растопырив вдовые оглобли, — всех лошадей свели по весне в упродком. Скручивается лепестками и осыпается краска с наличников. Богатый дом теперь присел на корточки и схватился за голову, как пропившийся вчистую купец.

Стихарь Евсей — низкорослый, большеносый и хмуробровый служитель церкви Успения Божей Матери. Прихожане всегда несли ему больше, чем тощему малохольному попу Сергию. Евсей Егорыч выпивал много, ежели доводилось, но на

коротких своих ногах стоял завсегда крепко, как его ни пытались шатать. Кулак его что бычий лоб, и пальцы заскорузлые с трудом складываются для моления. На зимних кулачках Евсей первый боец: зубов чужих на лед накрошил, что жена его, Софья, картох в щи. Поп Сергий побаивался своего стихаря и слово сказать не смел поперек мирских забав подчиненного. Революция случилась — поп тот в Лысково съехал, церкву закрыл на амбарный замок, ключ под рясу. Евсей же остался, сказав: «Дед, отец мой — мужики были, стало быть, моя власть пришла — от своих не хоронятся!» По правде сказать, некуда ему было ехать, у попа у того в городе хоть дом родительский.

* * *

После обеда вышел Евсей со двора со граблями и пошел за амбары. Софье да дочери наказал явиться в помощь, как закончат в огороде дела. Батраки, числом многие, разбежались, свободу почуяв протабаченными носами. Теперь самому ворочать сено и прочие дела одному да баб своих шибче гонять, чтоб всюду поспевали.

Тяжело ступал по дороге стихарь, а улица гудела меж домов: бегали и звонко трещали кумушки, квохтали меж собой — видно, не сплетни, а крепкие вести носят по селу.

— Лягушинского убили, в Красной Луке, у Тамары в избе. Лежит, кровищей пол залил.

— У Томары? Паскудница, с чужим-то мужиком спуталась, поделом ей. Позору-то!

— Говорят, что это Мироха Мороков. Будто отмстил за сестру.

— Тамарка видала его? Нет? Тады брешут! А може, правда...

Притихли бабы, завидев Морокова. Коротконогий, спиной квадратный, двигался он крепким пнем по проулку. Одна из кумушек, что побойчей:

— Здравствуйте, Евсей Егорыч, добрый денечек.

Густо крякнул в ответ, и брови его дали крутой изгиб.

* * *

С полчаса ворочают сено. Софья, Евсей да Марфа. Отец идет впереди, кладет травяные пласты ровно, как блины на сковороду. За ним мать, дочь замыкает. Отец оборачивается, картуз снимает с седой головы:

— Мать, говорят, Миронка Саньку стрельнул.

— Быть того не могет, — Софья замирает, поправляет платок коричневой рукой. Стоит, будто вкопали.

— Работай, работай, не стой! — Евсей Егорыч идет дальше, плотно ступая по вяленой траве. «Стервец, ух, стервец», — шепчет в бороду, а глаза улыбаются, и хитрые от них морщины режут виски.]

* * *

— Мне, — говорю, — до Лыскова б добраться.

В окне вокзальной кассы, как водится, бабушка. Перевязана крест-накрест пуховым платком, словно башлыком казак.

— Опомнился, билетов нету! Нету-у, говорю! В пять часов тю-тю последний.

Вокруг кричат настойчиво люди древней профессии — извозчики, то есть: «Княгинино! Лыскаво! Па-авлово, Павлово! Сергач, сиергаач!» И густым басом снова: «Лыска-а-во!» Ну, поехали, коли так аппетитно орешь. Шаляпин, ей-богу. Триста? Ну, ты, брат, хитер да жаден, что я цен не знаю? Двести пийсят, хе-хе? Двести? Не вопрос — только провези с ветерком мимо снежных пустынь да редких подростковых усиков придорожных посадок, ох провези, чтоб душа туда, куда ей положено! Нам, гробовщикам, если не знали, ни денег, ни времени не жаль. Даже если и то и то почти отсутствует: мы люди широких взглядов, шире (я про взгляды) только у патологоанатомов.

Кроме меня, извозчик взял мужчину в желтом пуховике с интересным, музыкальным выговором. Как на арфе играл. Ехал тот в Спасское. Из их разговора с водителем стало ясно, что мужчина издалека, что работает инженером в нефтегазовой компании. Водитель всю дорогу донимал нефтяника вопросами, спрашивал дюже настойчиво. Начал так:

— Сколько получаете? Сколько?!

Попутчик, право, опешил. Мужик рассудительный, судя по рельефным морщинам над бровями и очкам на тонком носе, подумал, видимо, что у нас принято с ходу подобными вопросами рубить, и стал отвечать вежливо. Но зарплату, кремень, не рассекретил. Терпеливый попался, как потом выяснилось. Другой бы после получаса такого разговора уже бил бы водилу о руль, беспрестанно бибикая, потом бы выкинул его из машины, уселся на водительское и включил бы музычку для успокоения. Моцарта там или Шифутинского. Ну а этому очки жизнь испортили: никто от него решительности не ждет. Думается было так: нефтяник этот, скорее всего в молодости то было, вздел очки на переносицу, вздохнул и, понурив голову, так и пошел по жизни интеллигентом.

Я сижу на неудобном сиденье сзади. Не скучаю, потому что не умею, так бы с радостью. Слушаю и думаю — вот и все, чему научился. Сидишь, бывает, спокойно, и вдруг полезет под напором чушь всякая в голову. Вот и сейчас.

На Средней Волге испокон жили чемерисы — дремучее лесное племя. Добряки, охотники ловкие и рыбаки усидчивые, жившие в среднем лет до трехсот, покрываясь мхом на спине, под мышками и в тех местах, где не рискнешь и подумать. По поверьям странного того народа, земля — вся, что лежит под солнцем — есть тело спящего великана. Зуб давали и за веру эту отчаянно дрались чем попадется. Правда, не уточняли, а зря: на спине или на животе лежит великан. Вот через эти недомолвки у меня подозрение: не на ж... ли мы так славно расположились. Приятней думать, что великан на спине разлегся. А мы, стало быть, на лице его расселились, как прыщи у подростка.

Вот смотрю в окно и с чемерисами согласен: поле — щеки бледного лица, умытого ветром, густые бакенбарды леса с проседью берез. Мы едем по длинному шраму возле носа великана — огромного лысого холма с редкими кустами на склонах. Шрам, должно, от удара секирой — в память о древних битвах. Отметина, наверно, зудит от нашего движения и автопоездов, и я боюсь, как бы великан не проснулся. Как бы он не встал, не скинул нас к своим несвежим ногам и не закричал бы раздраженно: «Кацапы, мать-перемать, хватит уже! Заездили!»

Моим попутчикам нет до этого дела. Эти перебрали самые насущные темы: о Путине говорили, конечно, о Сталине — без него не разговор, а баловство, о Советском, непременно, Союзе, про негодных дочерей, про аборты жен — что иногда, мол, не так уж и плохо — о задушевных песнях Круга, неожиданно про бабочку махаон, про отечественный автопром (водила стучал кулаком по панели своей «лады» и кричал, почти рыдая: не умеем, б..., делать! — попутчик, было, в дверь, но взял себя в руки вовремя) долго и нудно о конце света. Извозчик сам себя загнал разговорами — устал заметно, еле рулем крутит. Почти иссяк после разговора о видах рыб, которые могут водиться в водоемах Сибири, но тут срывается в штопор, для всех неожиданно:

— Сколько мясо у вас там стоит?

— Не знаю я, — утомленно, но все же вежливо отвечает попутчик. Человек-железо. Мелодичный у него говор, думается, украинец он: хохлы пользуются русским куда более художественно, нежели мы. Гоголь, Чехов, Булгаков — какие еще доказательства?

— Ну, примерно, примерно! Вот у нас триста рублей говядина, на Средном за двести пийсят сыскать можно свинину. А у вас?! — горячится извозчик. Скверный человек, стыдно за него.

— Не знаю, жена покупает.

Водила чуть на встречку не выскочил:

— Жена?! Э, нет, касаемо мяса, жене не доверяю! Мясо — дело мужское, ты чего...

Великан спит и, скорее всего, уж не встанет сегодня. Может, в воскресенье, когда движение будет плотнее, когда караваны грузовозов как следует натрут шрам от гигантской секиры.

## Глава 5. Тщеславие

### 9

[Отряд ЧОНа вошел в село надежно, как шашка в ножны. На сонных лошадях въехали по утру. Тихо, как ловкие воры: не бряцали котелками, не скрипели портупеями. Латыши большей частью да свежемобилизованные по уездам и волостям русачки, под командой комиссара Горлова. Были во многих селах уезда — постреляли, пошумели маленько во имя советской власти. Сотня или более их.

Горлов — рвущий рубаху на широкой груди большевик. Террорист, ловкий экспроприатор, литейщик из Твери и пьяница со стажем больше трудового. Борода комиссара задевает бляху офицерского ремня. Усы и прочие волосы на лице комиссар ликвидирует как ярое проявление контрреволюции. Голова его бликует в рядах волосатых и офураженных макушек, обозначая незыблемое главенство.

Чоновцы идут по главной улице рассыпчатым дремлющим каре. Откалываются от общей массы уснувшие в седле, кони несут их к стожкам сена.

Горлов послал разъезд вперед себя за полчаса. На подходе к селу доложили командиру о том, что в селе чисто, что караулы выставлены. Бойцы в карауле свежие, выспавшиеся, в прошлом столкновении с белобандой не участники. Мол, ежели спать желательно, то можно. Потому-то отстающих бойцов не будил комиссар выстрелами под ноги.

Пробует голос петух, где-то в дальнем хозяйстве. Сонно и хрипло тявкает пес. Так, для порядка. На дороге ломается хрупкая русская речь в устах бледных латышей. Эти призваны из рабочих рядов заводов Кунавина-села. На Средней Волге очутились они волею покойного ныне царя-батюшки: эвакуированы в четырнадцатом вместе со станками заводов «Новая Этна» и «Фельзер». Латышам нынче работы нет иной, окромя военной. Потому как дело интересное, для прибалтийской студеной души весьма сподручное. Словно для русской революции рождены были, узкоскулые эти молодчики.

Выходят из домов к дороге ветхие деды: неверные ноги путаются в пряже бород. Кланяются, кто похитрей. Отвечают им Горлов и зам его, еврей Левин. Эти двое нарочито вежливые до стариков. Мы, дескать, самая законная власть и есть. Низко да бережно опускают головы направо, налево. Но ни слова — тишина. Лишь латышское голубиное воркование промеж себя. И у деревни нет слов: все уж сказано. Те, кто что-нибудь знал и видел, заранее проговорились, прошептались в благодарные уши.

* * *

Извозчик высадил меня на главной улице города — имени Ленина, конечно. Бедному сибиряку предстояло невеселое: до Спасского оставалось еще верст сто. Я попрощался, расплатился, стукнул дверью и обернулся, сзади зафыркали о снег шины. Вот оно, старое торговое село Лысково. Низкорослое, широкоплечее, вечером освещенное скромно и желто — так, словно вместо фонарей на перекрестках вкопаны зажженные от лампад венчальные свечи. Однако мороз. И шарф мой, вполне спасающий в Нижнем, тут — легкомысленная щегольская тряпочка.

Я иду, ведомый интуицией, к гостинице. Спросить совсем некого, если только постучать в одно их тлеющих восковых окон пятиэтажки. Однако не тороплюсь: неудивительно будет увидеть из этого окна два ствола двенадцатого калибра. Тут все на крайностях: через минуту, извиняясь, усадят тебя пить чай со смородиновым вареньем. Но лучше пройдусь. Пусть мороз, пусть языком не пошевелить, будто пьяный, но рад, что довелось прогуляться. И знаете почему? Эхом на всю округу скрипят ботинки.

Забредши в лес или парк, понимаю, что если и есть в городке гостиница — она в противоположной стороне. В парке мелькают лица. Знаете, в парках маленьких городов зимой пьют пиво из банок, закусывая алюминиевыми огурцами.

Еще в парках бьют больно и хотят отнять деньги, а еще больше унизить кого-нибудь, сунуть в снег мордой. Нынче хотят окунуть меня. Точно говорю: сработало чувство ж...

Вижу емкость с пивом, руку в кожаной перчатке. Красная прорезь рта на лице под серой шапкой шевелится, брызгает пенной слюной и пыхает прелым паром. В мою сторону летят брызги и слова. Ну и противен же ты, брат. Остальные немногим симпатичнее. Что происходит, в конце концов?! Видеть не рады — это я понял, а почему? Меня называют обидно, как в детстве, самые едкие негодяи моего двора. И, как в детстве, я дерусь с ними. Отчаянно и безнадежно.

Я всегда борюсь не с реальными людьми, а... Короче, любая драка — это битва с несправедливой вселенной. Не смейтесь, именно так. Поэтому мне всегда достается. Я не Геркулес, мы люди простые, людьми от людей зачатые.

Время пришло сказать: вокруг меня гады. Подколодные, не дающие мне жить и дышать легко — не переубедите. Преследуют меня с тех пор, как все началось, в смысле, как родился. Это не люди, а тени моей души. А людей-то этих, в чьи обличья тени рядятся, может, и не было никогда. Свиней, понимаешь, наподкладывают, морду расквасят и растворяются. А что, может такое быть? Нет, конечно. Но думать так приятно: мол, мир вокруг меня одного вращается и не комплексует.

А между тем я, кажется, кричу что-то странное:

— Дышать легко мне самим Богом записано в права! Слышите? Ясно вам? Им неясно, им вообще мало что хочется прояснить в жизни. Уж такие они, тени моей души.

Драка для меня снова не получается. Что поделаешь? Буду лежать и пузыри пускать, жалеть, что в детстве дзюдо не занимался. Иначе раскидал бы живо по насту алкоголиков, выдохнул бы и пошел в гостиницу походкой Чака Норриса.

Справедливости ради замечу, что отвечал я негодяям, как мог, и у кого-то из них случился разбитым нос и распухла губа — за это меня не убивают и не хоронят в снегу. Просто бьют, почти лаская носами ботинок — непременно загнутыми и острыми, как сапоги боярина. И забывают посмотреть в сумку и по карманам — бескорыстные, добрые дуралеи. И вот через пять минут я лежу расхристанный, заснеженный, лицом вверх — повезло, а то перевернуться не хватило бы сил. Могу дышать, таращить подбитые глаза в небо, улыбаться звездам, «этим плевочкам», как сказал поэт, и Богу, который смотрел, как я отстаивал дарованные им права. И кто знает, может Он «болел» не за меня.

Прибедняюсь, верно, подумали. Жив остался и хорошо, а то сразу на Господа роптать. Вот теперь стыдно мне. Делать Ему что ли больше нечего, как ночами за мной наблюдать — должно, спал Господь. Вставать-то рано. У Него дни ныне особливо напряженные: с Ираном вопрос нерешенный, да и Корея Северная шалит, богохульствует, а в России... А на Россию — тьфу, глаза б не глядели.

## 10

[Вороной по кличке Черкес нес атамана на рысях сквозь непролазь леса. Ветки секли Петру лицо, но не впивал тот шпоры в лошадиные бока, а поглаживал коня по горячей шее, шептал в чуткое ухо жаркие ласковости: Черкес от смерти унес хозяина. Атаманова нежность только для лошадей.

Поутру Петро и денщик его, татарин Азар, которого звали все «Окунь», должно, за выпученные глаза и извечное молчание, выехали с места ночевки — небольшой закрытой поляны, над которой старые кривые деревья нависали, будто сказочные злодеи.

Изначала в Чувиль пошли пятеро: Петр, Мороков, атаманов станичник Шахов — прокутивший хозяйство мельник, ныне урядник; Костылев Андрей, проще: Костыль — худой, ловкий ворюга с хитрым глазом, да Азарка-окунь.

Нынче вдвоем. Чекиста сразу след простыл, и было подозрение у атамана: не увязался ли с ним Шахов, шнырь проклятый. Но нашли казака вчера у дерева на тропе мертвым. Сидел Шахов, уперев спину в кору, голову уронив на грудь — будто заснул пьян. Красные кишки его лежали на шароварах, грязными в земле руками казак держал их, словно откопанный рубиновый клад.

Чекист пришил казака? Может, и так, да к чему только.

А вчера, как спать легли — исчез Андрюха. Ушел, стащив котомку с хлебом, да коней увел. Оставив лишь старую кобылу и атаманова Черкеса — на нем все одно, окромя Петра, никто усидеть не может. Азар слышал ночью, как трещали ветки, как фыркала лошадь. Проснулся, разбудил Петра. По округе побегали, покричали, но в глубь чертова леса не полезли — дюже страшно. Легли, спинами касаясь, как жена с мужем, и заснули тревожно, без сновидений. А утром скоренько коней запрягли и ушли.

Да только куда идти? Как в сказке: куда глаза глядят.

Чекист, хитрая рожа, затащил Петра в лес да унес карту с собой, не показав ни разу. Еще затаил атаман: кинжал его уволок. Добрый клинок, вострый, с гравировкой на серебряном эфесе — подарок графа Граббе на смотру, где Петр взял второй приз за стрельбу с лошади. Может статься, обронил Петр под ракитовый куст любимую оружию, но сейчас все на Мирона списывает атаман, и ярость кипит в казачьем нервном теле и ревет, как Терек весной. Надо, говорит, было снять кожу со спины комиссара да кисетов нашить на весь отряд! Надо было.

Уж неведомо, много ли проехали они до полудня, но уморились на жаре очень. Азар, скакавший на хромавшей кобыле, извелся весь, страдая за животную. Сползли дремотные они с лошадиных горбов и пали в траву. Заснули под мерное шевеление лошадиных челюстей.

Азар проснулся первым, от звуков родной речи. Атаман очнулся уже от беспокойства денщика, приподнялся на локтях и разглядел спросонья, как серьезный Азар, бормоча что-то по-татарски, уверенно брел куда-то в чащу. «По нужде», — думал атаман, но встревожился от тишины вокруг.

Петру была видна треугольная спина Окуня в просоленной под мышками гимнастерке. Глазам не сразу поверил атаман, согнулся, но с земли не поднялся: под правой лопаткой Азара на просоленном сукне возникла красная точка, как от раздавленной смородины. Татарин замер и чуть склонил голову. Точка стала расти, пока не потеряла окружность и не расплылась книзу. Петр вскочил. Азар упал на спину — из груди его торчала, длиной в аршин, толстенная стрела с крылатым опереньем — такой легко свалить Черкеса, не только худосочного Окуня. Из чащи выступили силуэты, рассматривать которые атаман не пожелал, вскочил на коня и понесся во весь опор в другую сторону. Забыл совсем про карабин, стучавший ему по спине желтым цевьем. Сзади раздавался раскатистый свист, и, кажется, даже летели стрелы, ударяясь о плотные стволы берез.

Потом стало тихо, и Петро сбавил ход. И тут поперек ему из дебрей выступил всадник. Атаман вынырнул из ружейного ремня, стискивая в мокрых ладонях карабин, соскользнул с коня, упал в траву и выстрелил. Откатился в сторону, дернул затвор и прицелился. На коне, покрытом чешуйчатой попоной, сидел азиат в тяжелых доспехах, с колчаном и широкой страшных размеров саблей, покойно лежащей в ножнах. Он повернул голову на выстрел: маленькие усики его поднялись, зажелтела крупнозубая улыбка. Узкие глазки засмеялись. Ордынец тронул поводья, чуть подтолкнул коня пятками и скрылся меж стволов...

Черный, как станичная пашня, Черкес устал и начал уж похрапывать, когда атаман направил его к реке. Конь затопал по берегу, покрывая оспинами землю — вылизанную малыми волнами глину. Брызгал, где копыта попадали в воду...]

* * *

Нужно все же принять беспощадную истину, бьющую мое себялюбие по самым подлым местам. Господу мы одинаково дороги и безразличны: и я, и те, которые «пивные банки, охваченные кожей перчаток», и вообще все. И никаких там предназначений и ангельских лучей с неба, освещающих мой нелегкий путь, расталкивающих боками злые тучи. Ох, надо поскорее очнуться от слепой веры фатального предначертания и купить себе наконец хороший фонарик.

Нашел я гостиницу. Помогли, впрочем. Полицейские, как теперь поправляют нас, вытащили меня из снега. Лица закона не очень отличались от тех физиономий, владельцы которых недавно пробовали меня на прочность. Я немного насторожился — зря: патрульные не стали показывать своих плохих сторон, к тому же, кажется, забыли дубинки в машине. За широкий мой жест — отказ писать заявление — подвезли ближе к искомому зданию. Любезно пояснили пеший путь: «Там за шарагой, за технарем-еп, вот туда, под арочку нырнешь, и будет тебе хгостиница. Аккуратней во дворах-то ля, выкидоны не бросай, там нож печенью поймать легко-на. Мы-то спать ляжем — не поедем никуда».

Не поймал ничего печенью, дошел, помолясь. Но в круглосуточном ларьке выкупил бутылку водки. Именно «выкупил», потому как случилось что-то вроде аукциона: «Пятьдесят рублей сверх цены! Сто — продано!» Дело в том, что «напитки с алкоголем более пятнадцати градусов запрещены к продаже позднее двадцати трех часов...», а местные продавщицы стараются чтить федеральные и иные законы, поэтому часто играют в филиал Сотбис.

Гостиница — здание в два этажа. Стандартный кирпичный продолговатый коробок, ранее, судя по близости к местному ПТУ, исполнявший обязанности учебного корпуса. Портье — женщина явно на пенсии, сняла бы пахучий валенок и по роже, назови я ее «портье». Взяла деньги, выдала ключи молча.

Мой номер, наверно, был лаборантской. Три на два — побольше могилы, поменьше фамильного склепа. Первый этаж, окна без решеток. Комнату эту я снял за относительно скромную сумму: узкая кровать, единственный стул и неработающий телевизор «рыбий глаз». Белье, однако, чистое. Умыл лицо у ржавой раковины в туалете, которым философски кончался кишка-коридор. Вернувшись, отметил, что соседние номера не производят звуков совсем. Один я постоялец, что ли? «Ау, тук-тук». Тишина, ну и ладно.

Выпил наконец водки, растер полстакана по ребрам, по спине — насколько хватило рук, и стал ложиться: взбил затхлую подушку, накрыл себя с головой простыней, сверху шерстяным солдатским одеялом с тремя полосками в ногах. Надеюсь, с утрища портье не будет орать: «Рыта-а-а, падые-е-м!»

«Тут, пожалуй, тьма-тьмущая привидений», — подумал, засыпая. И еще протрубил под одеялом: «Здравствуй, Лысково».

Я уже дремал, а в коридоре, бьюсь об заклад, танцевал, словно полиэтиленовый пакет от вентилятора, призрак первокурсницы, давно умертвившей себя по причине большой любви. Мороз по коже. Если б увидел, поседел бы, как Хома Брут. Ну все-все, козак ничего не должен бояться, спать, спать, спа-ать...

«Доброй ночи, Невзор», — прошептало Лысково, зевнуло и на бок.

## 11

[Мирон вылез из чащи, смахнул паутину с лица и увидел реку. Блестела и купа-

ла в себе солнце. Широкая, но мелкая — даже в закатном свете видны камни на дне. Вода — слезы ангелов: чистая, как девушка. Мороков наклонился и, продавив коленями мокрую губку берега, напился.

Поднял глаза: на той стороне реки на фоне цыгана-леса пляшут костры. Вокруг больших огней мотыльками двигаются десятки маленьких. Звучит жалейка, будто возвращающаяся издалека утка. Начала тихо, расхрабрилась теперь. Покрыла весь берег кряканьем. Костры остались у леса, огоньки запрыгав, бегут к реке.

Мирон выставил подбородок, ловит дымок любопытным носом, жалейку — восковыми ушами, бегущих — глазами и без того навыкате. Девки! Пять, девять, дюжина... Бегут голые, молочно-белые фигуры, волосы полощутся в воздухе, у кого длинны косы на плечах скачут. Смех и крики. В руках огонь: на открытых ладонях трепещут пламени языки. Светятся нимбами на головах их венки: ромашковые, васильковые, клеверные — мягкие, не терновые. Прыгают груди. На устах улыбка — ярче пламени. Безбородые юноши тем же числом, тоже в чем мать.

Бегут они парами, будто супруги, держат совместно долбленые лодочки, размером с купель. Внутри каждой — соломенное чучело в венке: наряжено ярко, житом щедро осыпано. Медленно, с торжеством в движениях кладут руки на воду купели, девки толкают ножками — благословляют в путь. Поют песню:

За рекою, за быстрою,
Ой, Чувиль! Ой, Чувиль!
Леса стоят дремучие.
Во тех лесах огни горят,
Огни горят великие,
Вокруг огней скамьи стоят,
Скамьи стоят дубовые,
А на скамьях гробы лежат,
Гробы лежат сосновые...

Венки кладут на воду, поджигают солому в центре каждого. Мирон знает: к берегу пристанет цветочный круг — останется девка невенчанной, поплывет — жениха вскоре встретит, утонет венок — помрет она в этот год.

Заходят все в реку по пояс, опускают ладони в воду. Тьма. Вкусный соломенный дым курится от горящих купелей и венков. Визжат девки: уносят их парни на крепких руках в чащу.

Одна осталась у берега, закапывает в песчаный берег пальцы ног.

Мирон, будто во сне, противится упругой воде, бредет по реке. Не выше груди намочил одежду. Дыхание сбилось — не устал, от другого. Девушка: голову склонила, волосы покрывают плечи, а плечи-то родные-родные, аж дух захватывает.

Она. Мария! Как ты Мария тут! Русечка, как... В руках нервных бледное лицо. Белые губы, цвета реки полноводные глаза. Лицо ее мокро не от слез — речная вода с рук Мирона. В руках тонких венок — не пустила еще плыть.

— Ждала тебя, Мироша. Вот и пришел.
— Руся...
— Не забыл — знаю.

Венок Марии на воде. Само вспыхивает сено в васильковом круге. Мирон не

чувствует языка, глядит дураком. Венок плывет неплавно, но дергано, будто тянет кто за ниточку под водой. На середине реки переворачивается, как тарелка со щами, тонет.

— Пора мне, криница ведь теперь, — Мария целует Мирона в губы. Ее холодные и пахнут рыбой. Водяница ныряет, всплывает на середине реки, бьет гладь хвостом и снова вниз. Круги идут до берега, переворачивая многие венки.]

«Стоп, не было этого», — шипит в ухо Мирон. Да, он иногда правит меня, когда увлекаюсь и увожу повествование в сторону от истины. Думаю, простительно, что увожу: меня там не было. Я порой могу, конечно, ослушаться, но считаю, что он часто прав. Если взялся писать под диктовку умершей души, исполняй дело добросовестно. По поводу Марии и гряной недели Мирон говорит следующее. Мол, на той неделе русалки, наоборот, покидают реки и озера и переселяются в поля да рощи на славное летнее житье. В том то и есть смысл обряда. И Мария не может дать переплыть реку Мирону, потому как сие есть смерть его. Реку Марию переплыла сама.

[Обняла Мария брата и зашептала на ухо горячее слово. Чтоб жил Мирон в миру, покуда не позовет она его снова. Чтоб отведенное время не тратил на кабаки да баб, а писал стихи да хучь рассказы... Но токмо не частушки на потеху пьяной толпе, а такое, чем душу выжечь способно. Взяла большую ладонь брата в хрупкие свои и вложила в нее птенца. Жалкого, серенького, с голой дрожащей головой и открытым жадным клювом. «Смотри! — говорит, — сокола птенец. Это ты, Мирон и есть».

Сказала сестра Мирону слово и отвела глаза его, чтоб не гнался за ней в поля и рощи, чтобы смерти не искал на том пути, не дразнил Негодного. А проснулся Мороков на опушке Чувиль-леса. И видна была деревянная окраина села торгового, Лыскова.]

## Глава 6. Прелюбодеяние

Я проспал до обеда. Стянул с лица простынь — свет по зрачкам. Окно без занавесок, а там небо ясное, как мамины глаза, и сразу вспомнил: нынче Масленица. Засобирался, заторопился, потому что весну непременно нужно встретить, иначе обидится и никогда не пошлет мне любовь. Эта может: чувственная и слезливая, как ребенок. Извиняться потом бессмысленно. Все! Даже не взглянет, как ты перед ней канючишь.

Правда, есть один вариант. В следующем году встречай весну так: в рубахе, обязательно алой, в каждой руке по подносу блинов, на шее — баранок вязанка в два витка, под фуражкой пышный рыжий чуб — хны не жалеть, на фуражке — роза, на худой конец тюльпан, ноги чтобы непременно в смазные сапоги обутые. И, чуть не забыл, выйти необходимо в портках широченных, в которых и ветру разгуляться способно. И стой, значит, на месте приплясывай. Вприсядочку неплохо б пойти. Вот так, а иначе не простит. Так и будешь до старости по домам терпимости ходить, горемыкой безлюбым.

День-то оказался очень свежим. Ягодицы, извиняюсь, сковало морозом, как вышел, и никакой тебе весенней победы. На улице высыпала тьма народу, и все шли в одном направлении, как зомбированные. Я постоял у двери гостиницы, посомневал-

ся чуток, а потом возьми и увяжись следом за потоками людей. Потому как хотелось праздника, а на их не всегда светлых лицах кружили, понимаешь, обнадеживающие солнечные зайчики. Ну, а желание выпить обгоняло этих зайчиков на круг.

Идти случилось недолго: до конца прошли улицу, пересекли дорогу, а там за стволами тополей — смотри: мелькает уж праздник. Когда я ближе подошел, понял, что где-то тут меня вчера били. Приятно, когда есть что вспомнить, правда? Внукам не стыдно будет рассказать: мол, вот тут меня, внучки, бивали, ох, бивали.

В парке было человек семьсот. В центре праздничной поляны стояла деревянная сцена, на сцене скакали козлами и козочками люди в пестрых одеждах. Музыка гремела так, будто планировалось людей оглушить, сложить в поленницы и увезти работать за еду. «Бом-бом-бом! Ай да Масленица, иха-а-а!»

В качестве кулис использовался автобус, припаркованный позади помоста. По кругу на поляне были разбиты торговые палатки, неповоротливые продавцы в шубах и пуховых платках сбывали ледяной лимонад, водку да огненные шашлыки задорого. Люди ходили по кругу от одной палатки к другой, будто пришли ради этого. Сдается, ради этого и пришли.

Мне тоже есть хотелось. Я купил двести грамм мяса, заплатив за триста, и две изогнутых корки черного. Отойдя от палатки, присмотрел березовый пень. Благо кто-то на нем до меня сидел, и было не так холодно заднице. Я расположился и стал праздновать: обжигал губы, раздувал щеки и глазел по сторонам. Вокруг было пестро. Рядом за деревянным столом шумела компания крикливых идиотов. Я сразу узнал среди них вчерашних знакомых. Красная прорезь рта нависла над столиком и поглощала, не отвлекаясь, яркие, в кетчупе, куски свинины. Меня не замечали, и стало немного обидно.

Потом что-то хлопнуло, кто-то заверещал со сцены, и все вокруг ринулись к большому снежному валу в центре поляны. Жгут чучело, догадался я и побежал тоже. Динамо бежит, все бегут.

Зима горела быстро и неинтересно: должно, тряпки намочили бензином. У чучела сразу отвалилась грудь, потом упала юбка, оголив соломенные чресла, улыбка на румяном ее лице поползла, сменившись миной страдания: жуть! Отвернулся. На сцене пели глупые песни, под сценой пили водку и мучили ходули: «А ну дай-ка малеха пройдусь!» Я чуть потолкался в толпе, потом, лукаво не мудрствуя, купил бутылку водки и пошел к своему пню.

Соседи уж были на месте. Потоптавшись возле пня, почесав болевший нос, я взял тарелку с шашлыком — в одну руку, бутылку — в другую и пошел к идиотам.

## 12

[Черный, как станичная пашня, Черкес устал и стал похрапывать, когда атаман направил к реке. Конь затопал по берегу, взрыхлил, покрыл оспинами землю — вылизанную малыми волнами глину. Брызгал, где копыта попадали в воду.

Реки, что люди, здороваются при встрече со старыми знакомыми. Вот и эта желала здоровья земляку: нежно выкатывала на берег тихие волны, ласкала копыта Петрова коня. Дон. Будто колокол-благовестник, этакий божий наперсток ахнул над степью. Дон! Сердце атамана отозвалось часто и неровно. Он сполз с коня и, пьяно качаясь, пошел в воду.

Казак жадно пил из ладоней мутную водицу, потом кинулся обнимать реку — нырял, широко разбросив тощие узловатые руки. Конь позади него нервно фыркал и топал в берег, кивал тяжелой головой в знак согласия.

Петр, вынырнув, посмотрел вдаль и попятился. По угловатому его лицу стекала донская вода, волосы облепили голову, будто водоросли. На противоположном берегу стояла женщина. Белая понева и платок, синенький запон, коричневые лицо и по локоть голые руки. Недвижимая фигура начерталась возле прибрежных камышей.

— Мать, — чуть слышно прошипел атаман для себя одного, а затем крикнул так, что дрогнул конь позади: — Ма-а-ть! — для нее крикнул.

Петр держит за подпругу плывущего коня. Возле шеи жеребца буграми ходят под кожей мышцы, большие испуганные глаза правят к берегу, сносит течением круп, раздуваются жадные мягкие ноздри.

Река тут не очень широка.

А на том берегу, где стелются по земле низкорослые зеленя, где степной душок щекочет нос, где белеют известью, словно грибы, хуторские хаты, там, не поверите, смерти нет. Ну, совсем ни смертиночки. Там вместо нее что пострашнее — вечность. Именно так. Ведь тот, кто ищет, найдет непременно. Атаман сыскал, потому что Морок подсобил ему: поселил казачью беспокойную душу у себя в вотчине на вечное бытие, тело разложив в смрадном болоте.

Не плыл Петро по Дону, не плескалась донская волна о его спину. Тянуло атамана в трясину, жирно чавкало болото вокруг. Держала рука крепко до боли подпругу полудикого жеребца. Уж были полнехоньки смрадной жижей большие бурдюки конских легких, но жадно всасывал Черкес нервными ноздрями, как когда-то степной ветерок.

Петр и по сей день живет на хуторе возле самого Дона, любит жену, казачат рожает да радуется воскресению матери. Но не знает имени своего благодетеля. Да того и не требуется.]

* * *

Я очнулся в полутьме на диване, сидя. Спина окаменела, а на ноге, которая тоже жутко затекла, спал кудрявый парень и пускал слюни на мои почти новые джинсы. Гадость какая. Я встал, кудрявая голова упала на грязную обивку дивана — гулко, как на барабан, а моя, ровноволосая, жутко разболелась, дрейфуя в вязком воздухе. За окном было темно, в комнате — жарко, в нос, не хуже боксера, бил тяжелый запах перегара и носок, на полу лежали два человека, в углу в кресле что-то сопело и булькало. По запаху и звукам падающих капель я отыскал все же ванную. Свет зажечь не удалось, умылся на ощупь, прополоскал рот. Очень долго искал пуховик, выдернул его из-под спящего на полу в прихожей, оделся и вышел на улицу. Было похоже, что вокруг утро. Зиму, помнил я, вчера плохо-хорошо, но проводили, весну, стало быть, встретили, значит, утро, без сомнений, весеннее.

Очень долго бродил по городу, собирался уже возвращаться на дно, к новым друзьям, но неожиданно вышел прямо к гостинице. Продефилировал мимо молчаливой портье, стараясь выглядеть свежим. Прошел гулкими, болезненными шагами по коридору, открыл комнату и упал на кровать, не раздеваясь. В голове стучал полковой оркестр, в котором сольную партию взял на себя барабанщик. Век не хватало, чтобы прикрыть глаза, которые стали, кажется, больше раза в два — выкатились от невыносимого давления в черепе.

Положил подушку на голову и, как жалкое больное насекомое, выглядывал из-под нее выпученными глазами. Со стороны, если взглянуть — обхохочешься, ну а мне дико было думать о смехе. Зато тогда я понял, что Кафка написал свое «Превращение», страдая похмельем.

На стуле у кровати стояла бутылка боржоми. Откуда взялась? Я достал из заднего кармана джинсов рубль и бросил в бутылку — попал, звякнуло. Не галлюцинация, во всяком случае, не только зрительная. Я жаждал взглядом поднять бутылку со стула, силой мысли подвести к лицу и вылить в себя содержимое. Вода, мечтал я, безудержно понесется и зайдет по спирали в воронку, коей непременно станет мой рот. Боржоми не поддалось, глаза закрылись.

Вдруг за окном заржал конь, ярко и отчетливо. Не удивило. Через мгновение раздался выстрел, и на пол брызнули стекла. Веко правого глаза приподнялось с любопытством. По комнате загулял воздух с улицы. На табуретке уродливым цветком блестело донышко с неровными лепестками бутылочного стекла.

На улице снова раздались ржание и цокот копыт. Я с трудом добрался до окна и увидел только, как равнодушно стучала капель, как деревья скучно серели, как размякал снег у стены, продырявленный многими струями с крыши. Воткнул подушку в проем окна и осторожно обернулся. Со стула медленно и бесполезно стекал боржоми. Будь я грузином, то, наверно, заплакал бы.

Капли будто зависали в воздухе, а потом обрушивались на пол с громкостью шагов чечеточника. Я крепко сжал голову в руках, как вратарь мяч, медленно, будто боясь спугнуть кого-то, прокрался мимо табуретки к двери. В одной из досок торчала смятая пуля, я коснулся ее пальцем, ожегся и протрезвел.

* * *

Библиотека — капище жрецов бескорыстной, внезапной страсти. Таких немного. Поэтому эти учреждения почти пустуют, а в жрицы данного профиля идут самые отчаянные, фанатичные и неожиданные любовницы. Молоденькие в очках и с обручальным кольцом — частое явление среди развратниц подобного сорта. Особенно опасны работницы детских библиотек. Таким дела нет до Диккенса и Лескова, что бы ни говорили. Эти редко выдают книги, а в неограниченное свободное время молятся маркизу де Саду и пошляку Лоренсу. Знаем, знаем.

— Да, Мороков Мирон Евсеевич — наш земляк. Родился в... А вот тут все написано, — девушка небрежно указывает на большой плакат на стене. На нем портрет и краткая биография Морокова.

— Как вы думаете, правда, повесился? — спрашиваю.

— Не повесился он, а «покончил с собой». А как — неизвестно. Вот вы знаете, что у него было много детей, хотя женат не был? — умничает милая. Отшлепать бы тебя вторым томом «Войны и мира», чтоб не паясничала.

— Вы осведомлены. По некоторым сведениям действительно можно сделать вывод о необычайной плодовитости Морокова, — тоже паясничаю, но мне можно.— В Нижнем, где поэт жил в сумме около четырех лет, он много и безудержно любил, многих и безудержных. Часто попадались мне женские мемуары, свидетельствующие об этом. Одна актриса, не помню точно фамилии (Штейр или Шнайр), пишет, что «пострадала» от него с первого раза. Она имела в виду беременность. Эта препорочнейшая дама ребенка, зародившегося от первого же соития с Мороковым, вытравила. Масса случаев, знаете...

— Как интересно вы рассказываете! А почему он не женился? — библиотекарше, понятно, до того дела нет.

— А вы, вижу, замужем? — шагаю в приготовленную сеть, с пониманием последствий. Иду неуверенно, брезгливо, но с надеждой переночевать где-нибудь. Из гостиницы меня выкинули, потому что остатки денег пропиты, и не смог я оплатить стоимость разбитого в номере стекла. Ладно еще, полицию не вызвали (с другой стороны, не надо было бы думать, где переночевать).

Девушка вульгарно садится на стол, оголяет, будто невзначай, исполинские белые бедра и рассказывает о муже:

— Он самый спокойный человек из всех знакомых мне. Именно поэтому я вышла за него. Спокойный и выдержанный, очень спокойный и очень выдержанный... Он дежурит сутками, два через два. Сегодня заступил на смену...

«Выдержанный» — это же муж, а не коньяк, милая.

Вдруг становится стыдно и неловко оттого, что я так запросто засвидетельствовал простую и обстоятельную причину чужого важного поступка — замужества. Не интересуясь, а так невзначай узнал, что любовью тут и не пахнет. И она поняла, что я понял, и улыбалась мне мило и наивненько. Мол, вот какой казус вышел, упс. Я с того момента стал ей чем-то обязан...

* * *

Около месяца прожил я в Лысковском, сто лет назад Макарьевском, уезде. Несколько дней провел в деревне, где Мороков родился. Кириково зовется. Там мне кое-что рассказали. На какие деньги жил — и нет спрашивайте...

В селе даже есть библиотека, а библиотекарем там бабушка лет семидесяти. Добрая, толстенькая в складочку, как шарпей. Многое знает старушка про поэта-земляка, кое-что поведала и о смерти поэта. Неожиданно интересно может рассказать бабуля про отца Морокова, о судьбе матери поэта. Удалось также раздобыть фотографию Мирона Евсеевича у праправнуков сестры Марфы. Дагеротип отдали без возражений — они даже не знали, кто на нем, пока вместе со мной не прочли подпись на обороте: «Мирон, брат. 1917 г.». Стройный, двадцатидвухлетний. Один из двух-трех, думаю, снимков поэта.

Я приехал в Нижний в середине марта. Город подтаивал, да что там, откровенно тек. Под ногами чавкало, в лицо брызгало — много случилось ходить той весной.

Я прошерстил массу архивов, где мне очень удивлялись, но в целом были не против моей никому не ясной работы. В конце апреля я отправил биографию Мирона Морокова в газету «Мой город», где, правильно догадались, служила знакомая журналистка.

После того как работа над статьей завершилась, Мороков перестал тревожить меня. Я до сих пор не знаю, понравилось ли ему то, что я написал.

* * *

Той весной жизнь снова зашептала мне в ухо. На этот раз она не смеялась. Хочется, конечно, видеть себя хозяином судьбы, но все меньше оснований. Потому как счастье появилось у меня незаметно, как свернутая купюра, украдкой подсунутая добрым кем-то мне в карман, чтоб никто не увидел.

Весной я встретил девушку, как говорится, полумесяцем бровь. Вот что значит не обидеть весну, а встретить с почестями в городе Лысково.

* * *

Что я знал о женах? Про женщин-то немного знал, а о женах подавно. Слышал, что существа непростые: и те и эти. Но отзывались о них разные люди по-разному, значит, догадался я, двух одинаковых не найти. Про женщин слышал, что за руль сажать их ну никак нельзя, что на корабле им делать нечего, что от зеркала не оторвать, даже если смотреть не на что, что к суициду дюже склонные, а убивают себя редко, что внутри каждой фантастический механизм производства людей на свет Божий — сложнее и тоньше часового и напряженней атомного реактора. И что с логикой у них прямо беда, что любят ушами и на блестящее реагируют, как вороны. Что готовят вкусно, если не ленятся, и пить совсем не умеют, сколько ни учи, но среди пьяниц они самые запойные. Знал, что замуж все хотят очень, а ежели скоро выскочат — очень несчастные становятся и ревут, заливая соседей. А мужики руками разводят, мол, что поделаешь, бабы есть бабы. И посему вопрос будто решенный. А разбираться, почему они такие, кто будет?

Но вся эта теория во вред, потому как ни к чему не подготавливает, а лишь сбивает «нецелованного» мужика с толку. Никто из мужей со стажем не сможет промолчать на тему жен. Сразу услышите смех и с ходу: «Вот моя на днях...» Он тотчас, без промедлений, потому как душа загорелась, норовит вам рассказать что-нибудь из наболевшего, с чувством и брызгами слюны. Оно нам надо, спрашивается? Но тот увлекается, бьется в падучей, пенится, а потом, выдохнув, непременно нравоучает в заключение: не женись, Невзор, ничего хорошего. Частушечник эдакий. А почему так? Осуждать таких не тороплюсь, потому как говорят: не зарекайся, а все же согласиться с ними не могу.

Это я вам про любовь свою рассказать хочу. Мощная, однако, штука вышла. Сам не понял, как закрутило меня в этом мальстреме чувств. Кроме шуток, все серьезно. «К чему тут любовь твоя?» — спросите. «Да как же любовь может ни при чем быть?!» — заявлю я риторически и громко. В конце концов, не хотите — не читайте, пролистните, а про любовь скажу. Буря мглою небо кроет, как говорится. К чему, кстати, поэт сказал, не помните? Вот и я запамятовал.

«А как вы познакомились?» — всегда первый вопрос. «Да какая разница вам?» — всегда возмущаюсь я, хотя бы мысленно. Уж простите за горячность, но так нельзя. Всем ведь подавай романтические истории про спасение утопающей или медсестру, излечившую больного любовью и аспирином. Про парашюты, ранения, про миллион алых роз и гранатовые браслеты. А я не нырял, не спасал, она не тонула; не болел я, а она вообще переводчик и от всех недугов советует выпить активированного угля.

«Познакомили нас», — отвечаю, обычно не особо любезно. И сразу слышу разочарованный выдох. Мол, и любви, значит, немного тут, если никто никого не спасал и даже из армии не дожидался. Да идите вы! Задохнулись бы, хватанув глоток такой любви. Правда-правда: сам курить бросил, чтобы легкие разработать на нужный объем.

Описывать ее не буду, вопреки предсказаниям. А смысл? Вы, конечно, ждали чего-нибудь этакого: «глаза цвета наших бурных ночей» или «губы трепетные и

чувственные, треснувшие от любви, как спелый астраханский арбуз» и, конечно, «молодые соски — земляника в росе». Во-первых, нехорошо это, пошло, неуважительно, а потом для меня слов таких недостаточно, чтобы целостную картину получить. Имени тоже не узнаете, потому как сокровенное всуе не упоминают.

Потому представлю мою любовь так: «Знакомьтесь, Жена». Не грубо «жжена», не легкомысленно и развратно «женушка», а тихо и мягко «Жена». Не давите на это слово голосом — пожалеете. Но и о Прекрасной даме советую забыть, вспоминая Блока и Менделееву.

Да, мы поженились. И отбросив старую теорию женологии, я стал копить свой опыт. Самый неизученный предмет, знаете ли. Диссертаций можно назащищать целый шкаф, и все одно — неизвестная область науки.

Скажу вам, что я хотел умереть во время венчания. Умереть и сразу родиться, но не как прежде, а с одной душой в двух телах. Я знал, что Жена со мной согласна. Она же мне лично и во всеуслышание сказала: «Я согласна». Но не вышло, потому как в этом мире настоящее что-то через страдание лишь суждено понять и обрести. Правильно понял тебя, Господи?

А змий, помните же про Адама и Еву, после женитьбы проснулся, зашипел и стал посылать нам разные искушения — хоть и злился я на подлую рептилию, но сейчас, думаю, зря: работа его такая — не факт, что ему это нравится. Может, у него множество резюме на сайтах трудоустройства.

Какие-то острые углы мы с Женой проходили гладко, что-то с трудом, ну а где со скандалом великим. Ярости было — жуть: ураган Катрина, Великий потоп, извержение Кракатау. Будто дьявол через меня на свет Божий рвался. И никак усмирить себя не мог, а змию в радость — от того у него ежеквартальная премия начисляется, не иначе.

Да глупости, конечно, если себя в руках не держишь — тут сразу все виноваты, а ты нет. Жертва, значит. Осознавая всю мерзость ситуации, глубину падений, я ненавидел себя и выл от безысходности. Короче, пейте, братцы, таблетки глицин. Хоть не помогает ни черта, а все одно пейте.

Вот иллюстрация. Помню, наступил Великий пост, и решили мы с женой поститься. Купил я в магазине постного печенья четыреста грамм (долго читал «состав» на упаковке), пришел домой и дома учинил скандал. Не из-за печенья, конечно. Жена поддержала меня с рвением, она тоже может, иногда круче меня. Не помню из-за чего даже — и тогда не знал, но скандал вышел что надо: с битой посудой, грохотом, опрокинутым столом в два часа ночи и криком «разведемся!». Даже так, кажется, обоюдоостро, как лезвие боевого ножа: «Разведемся?!» —«Разведемся!» Соседи сверху вызвали полицию: соседи они вообще ничего хорошего друг другу не делают, вот и тогда. И тут мы с женой протрезвели будто. Чего это делается? — спросили себя молча, не то чтобы очень задумавшись, просто спросили.

От полиции кое-как отбрехались, сидим на кухне, чай пьем, в глухой тишине — стол подняли, осколки подмели, лица умыли. Ем я печенье, чаем прихлебываю и нервно читаю опять «состав», чтоб разум отвести в сторонку, оторвав от неприятного разговора с совестью. «Мука пшеничная, маргарин, дрожжи...» Стоп! «Маргарин...» И мысль такая: «Прости нас, Господи, что оскоромились до срока!» А про скандал-то, про скандал, про грязь и крики — мысли никакой нет. Ни мыслиночки, вот натура!

Это уж потом я додумался — ночью глаза вылупил, сверля равнодушный потолок. Понял, что глуп, глуп ужасно, и еще ужасней, что все вокруг, кажется, так же живут и многие совсем не прозревают, потому как отчего-то решили, что всегда верно поступают. Еле заснул, лишь к утру потихоньку получилось уйти в дремоту. Жена ворочалась рядом, ей, маленькой, тоже не спалось. А утром встал и нисколько не изменился. Да и жена тоже — ну нисколечко.

И очень хочется, невыносимо жаждется одно. Чтобы через год, пусть через два, пройдя через множество скандалов, один тяжелее и громче другого — точно знаю, этого не обойти, — мы потихоньку станем ценить мир. Научимся любить друг друга не только страстью, но касаясь сердцами, качая колыбель, где, обнявшись, будут сладко спать наши души. Будто бурливая горная речка, добравшись наконец до равнины, растечется широко: спокойно и гладко. И лишь в камышах станут крякать жабы, и жужжащие быстрые строки острыми бритвами резать воздух над водой. Да плеснет редко рыба, удивив рыбака.

## Глава 7. Чревоугодие

### [13

Мирон поднялся с кровати, по привычке, чуть свет. В его квартирке на Кожевенке было беспробудно грязно. К половым доскам прилипали мухи. За окном ржали извозчичьи кони, гремел мимоходом трамвай, а с первого этажа доносилась ругань. Внизу располагался кабак. Судя по шарканью сапог, там, с утра пораньше, затевалась драка. Кто-то, по привычке, стал кричать городового.

Последнее время каждое новое утро Мирон встречал одетым и в сапогах, не помня, когда и как он вчера попал домой. С тех пор как окунулся он в кокаиновую мистерию, его часто одолевала мысль о том, что он больше не проснется, потеряет наган или удостоверение. В общем, мысли о возможности непоправимого.

Мирон лежа нащупал револьвер в кармане, достал и выстрелил в тонкий дощатый пол. Внизу пошуршали маленько да затихли. Мороков, по-прежнему не желая слезать с грязного своего топчана, закурил.

В литературном кафе «Красный колокол» он познакомился со Сретенским Степаном, фельдшером Нижегородской больницы для бедных. Этот абсолютно белый лицом человек, тридцати, наверно, лет, в касторовой шляпе, без которой Мирон его еще не встречал, торговал кокаином. В случае с Мороковым порошок передавался даром. Взамен Сретенский получил от поэта обещание, «слово мужика», как любил говорить Мирон. Слово значило то, что пока они «друзья», ЧК Степана не прищучит.

Мороков пристрастился к наркотику месяца два назад. Первый раз в кругу коллег-писателей на закрытой вечеринке в доме племянника секретаря обкома партии. Тогда впервые Мирон узнал, что такое «понюшка». Теперь уж его не радовали эти новые слова, пришедшие из таинственного мира кокаинистов: кокш, кокос, снежок, приход и много других, коими щеголяли кокаинисты-новички. Он просто не мог теперь представить, как быть без утренней понюшки. Правда, Мирону не о чем было переживать: понюшки у него были всегда, полны карманы, как говорится. В каждом по десятку сверточков из вощеной бумаги, вытрясенных из Сретенского.

«Фельдшер, видно, непростой человек, — думал Мороков, после того, как в нос залетела порция летучего “завтрака”, — не-про-стой че-ло-век. Он, поди, и морфий весь вынес из больнички, сучок подкулачный, мы его... я его выведу на чистую воду, бу-дет знать, как брать с трудящихся в-три-до-рога... Прислонится к прохладной стеночке...»

Чекист повалился на пол с кровати, с которой еще не сходил сегодня, и блаженно застонал. На глаза его будто западал снег, и поэт увидел то, что в последнее время было не вновь.

Лысый старик с блестящим лбом, переходящим в затылок, с кустистыми бровями, реденькой бородой и дурными глазами выглянул откуда-то сбоку, проткнув кривым желтым носом белую поволоку Мироновых глаз. Трескучим голосом дед произнес: «Вот ты не знаешь, отчего все так устроено, отчего моча на землю течет, а не вверх вздымается, не ведаешь, отчего бабы рожают в муках, а мужики сладострастие тешат и за то на войне головушки кладут без счета, отчего птицы летают да не падают, отчего глаз видит срам, а ухо слышать обязано похабные стоны, отчего брат сестру возлюбил, отчего отец сына в морду лупит без сострадания, отчего царь народ свой пользовал, как бык ненасытный коровенку, зачем потом народ тот стреляли, как собак шелудивых, и сын на отца почто, не говоря уж про брата, все это зачем, бе-бе-бее... А ты отрекись, отрекись, — выпучил глаза старик, — отречешься коли, спасешься...»

Мирон в ужасе засучил ногами, шаркая каблуками по половицам, содрал рыжую краску и кое-как облокотился на кровать. Старик не исчезал. Он стоял во весь рост. На нем было солдатское исподнее, белоснежное и мятое, будто он после бани, а рядом стоял гроб. В гробу была выстелена сеном постель. Старик стал ложиться, приминая локтями травяные, серые пузыри, хохоча беззубым ртом. У Морокова на лбу выступила испарина.

В ногах у старика помещалось гнездо, и из него, глубокого, будто казачья шапка, выглядывали тонкими стеблями шеи птенцов с желтыми клювами и выпученными глазами. Они пищали, а старик скрипел себе, поглядывая на Морокова: соколята, хе-хе-хе.]

В начале июля меня пригласили на работу — не буду уточнять, работа как работа. Требовалось пройти медицинскую комиссию, весьма и весьма обстоятельную. В понедельник, десятого, после трех дней мытарств в поликлинике, я проснулся утром с тем, чтобы пойти и окончательно оформить бумаги. Поднялся под будильник рано, умыл и почистил, что требовалось, поставил чайник, прыгнул в брюки. В теплой спальне жена, свернувшись мурлыкающей кошечкой, сопела носиком в подушку. Поцеловал ее щечку, нежные пяточки. За стеной истерично засвистел чайник.

Я вошел на кухню и увидел, что на плите столбом пылает кухонное полотенце. Все было в дыму, я кинул полотенце в раковину, открыл кран, отворил окно и тихо засмеялся. Отчего-то очень смешным казалось случившееся. Дымок лениво выползал в окно, я выпил чая, съел ложку меда и ржаную гренку.

Потом снова поцеловал пяточки жены: не мог отказать себе в удовольствии — и, посмотрев на часы, заторопился. В шесть тридцать я вышел из квартиры, как сейчас помню.

Вот подлость, тот день помню подробненько, в силу каких-то неведомых, садистских свойств памяти.

Утро было желтое. Знаете, летом часто бывают такие светлые, сверху синие, внизу желтые утра. Мне улыбалось солнце, редкие прохожие смотрели как бы доб-

ро, и в маршрутке было на удивление мало народу, так, что я даже сидел. В ушах бренчали гитары группы «Алиса». Песни времен их бескорыстного творчества. И все вокруг ласкало меня, и даже несколько неприятных на вид людей не смогли сделать вреда моему настроению.

А вот больница мне не нравилась. Потому что это была обычная районная поликлиника, где врачи и пациенты числятся врагами, но не могут жить друг без друга. Мне, впрочем, оставалось лишь собрать заключения по анализам, потом поставить печать терапевта — и дело в шляпе.

Я получил заключение дерматолога, хирурга. Выстоял очередь в кабинет уролога, прошел, когда стало можно, сел и положил бумаги на стекло его стола. Уролог, коренастый мужик в очках, эти самые очки снял и говорит (в руках листочки — заключение по моему здоровью):

— Молодой человек, нехорошие анализы у вас, м-да...

Я, в легком волнении, мол, тут какое-то недоразумение, шагнул мыслями совсем в другую сторону:

— Не может быть, — говорю, — никаких там беспорядочных связей, все гладко, товарищ доктор, весьма упорядоченно...

А он очки на нос вернул и:

— Да вы не так поняли, у вас проблемы в другом плане. Проще говоря, детей иметь не сможете. Вот так, печальненько, сперма у вас неактивная, иными словами...

И листочком каким-то трясет. Весело так, будто это билет с лотерейным выигрышем:

— А так никаких инфекций, к работе годные, — и печать «шлеп». — Следующего позовите, будьте добрые.

— Как это, доктор?.. А это лечится?

— С таким диагнозом не припомню. Да вы не переживайте так. Детей хотели? Так способов же много детей завести.

— Какие? — спрашиваю я, ничего не соображая.

— Спермабанк, я не знаю, детдомы, наконец. Вы не подумайте, я не циник, просто работа такая, ступайте, милый, и следующего позовите, пожалуйста.

Жене я сказал через неделю только, после того, как обследовался в частной клинике. Диагноз подтвердился. Тогда я часто, ой как часто, вспоминал наш семейный разговор о детях, о том, что она хочет поскорее стать матерью, а я, мол, тоже приветствую такое развитие событий.

Вот как я мог ей сказать? Только пьяным и смог. Она не плакала, улыбалась даже, будто переживаю по глупости. Я же говорил, говорил, уж не помню чего. Лыка не вязал тогда, но она не ругала меня, поняла. Все поняла милая.

Через три дня я взял административный отпуск с целью куда-нибудь уехать на отдых. Начальник косился, намекнул, что так не делается, что после двух недель работы в отпуска у них никто еще не уходил. Да пошел он сам.

К концу июля опубликовали мою статью.

*Публикация в газете «Мой город»*

**Неизвестный поэт**

Встать бы во весь рост и крикнуть
Во весь дух: я люблю и буду жить!
Но в этом предложении есть «бы».
«Бы» — и конец всему. Божество с таким именем
Говорит мне: ничего не будет, иди.

## Из дневника Мирона Морокова

### 1

Мирон Евсеевич Мороков народился третьим ребенком в семье стихаря церкви Успения Божей Матери села Кириково Макарьевского уезда Нижегородской губернии. Согласно церковной книге: 3 февраля 1895 года (7403 г. от С. М.). Отец его, Евсей Егорович, невзирая на духовный сан, весьма успешно вел крестьянское хозяйство, содержал работников, имел приличное для села состояние. Дети, сын Мирон и дочери: младшая, Мария, и Марфа, старшая, — воспитывались по-крестьянски, ничем не выделяясь на фоне деревенской ребятни. О детстве и трудовой юности Мирон вспоминал в дневнике, нами найденном:

*«...роса ноги мочит, но то не огорчает, ведь работа замерзнуть не даст — быстро кости и мясо прогреются, коли стоять не станешь, а косу, звенящую сквозь траву тугую, почнешь протаскивать. И ежели откосишь до поры, как солнце всходить зачнет, то так сугреешься, что косу в сторону, а сам в воду холодной реки...»*

В дальнейшем Мороков, будучи вхожим в писательскую среду, коею преимущественно составляли выходцы из состоятельных слоев, никогда не стеснялся своего простого происхождения. О творческих успехах юношеского периода мы ничего не знаем. Можно предположить, что Мирон что-то сочинял тогда (как он писал в анкете одного из литературных объединений), но литературные эти опыты не казались ему самому чем-то серьезным. Во всяком случае, никаких опубликованных ранних стихов мы не нашли.

Восьмилетний Мироша был отправлен учиться в Духовную семинарию. Об этом периоде также ничего не известно, не сохранилось документов об окончании сего учреждения, информации об особых отличиях. Верно, ничего выдающегося не было. Как, впрочем, и позднее.

В 1915 году Мороков Мирон уходит на войну. По данным призывной комиссии Макарьевского уезда, из села Кирикова в солдаты «забрили» всего пятнадцать человек. Село довольно крупное, согласно переписи 1897 года: численностью пятьсот тридцать шесть человек по форме А (имеются в виду крестьянские хозяйства). В связи с этим не совсем ясно, как сын богатого священнослужителя попал под мобилизационную гребенку. Из дневника писателя можно извлечь некоторую догадку. Он пишет:

*«Отец — слишком жесток от природы, потому самой судьбой не положено ему стать любимым сыном, мужем, родителем. Моего ума не хватит, дабы понять, отчего он подался в священники, не христианская его натура — скорей, прокураторого семя. Никогда не был он жалостлив ни к кому из нас: сестры вечно выли, за то биты бывали не раз, мать молча крестилась скрюченными от земляной работы пальцами, а он делал что хотел — знал, что прав всюду. Испокон было так. Но судить его не смею — я и сам таков, но будто рожден зеркалом, перед которым только что стоял отец».*

Стихотворение, опубликованное в газете «Приволжские ведомости» в мае 1917 года Мороковым:

Митрополит, царь.
Скинуть с трона!
На короне — гарь,

Не избежать грома!
Отец не звонарь —
Он живет в хоромах,
Обычный стихарь.
Вот божий промах.

Думается, Мороков-младший мог просто сбежать из семьи на войну, показывая характер. Впрочем, в силу малого количества фактов по вопросу остается великая свобода строить версии поступка поэта, как и многих других его деяний.

Про армейские годы Мирона известно немного. Знаем, что он воевал в Польше (это из писем к сестре), кажется, в кавалерии. Также в качестве свидетельства мы имеем фотографию военных лет. На дагеротипе, найденном нами в селе Кирикове, поэт запечатлен в драгунской форме. С другой стороны, известно, что в кавалерийские части крестьян из Нижегородской губернии почти не забирали. Как воевал — неизвестно, был ли ранен — тоже. Письма к Марии о войне сообщают мало, неохотно. Поэтому на картину войны в жизни Морокова мы пока даже не приоткрыли завесу. Есть, правда, стихи военных лет (о качестве молчим):

**Ли**

Мать — люблю ли?
Русь — а есть ли она?
Секут уши мои пули.
Жизнь — в поле борона?
Мать — родная ли ты?
Русь — защищать ли тебя?
Раны животов — красные банты,
Умирая, кричим в небо: Я!
Никак не получается: Мы!
*(1918 год)*

Считаем необходимым привести тут содержание письма Морокова к сестре Марии, чтобы немного осветить их отношения. Писем от Мирона кому-то другому не сохранилось.

*«Маруся, милая! Здравия желаю, Ваша благородь!*

*Смеюсь, радость моя — то редко бывает. Лишь в мыслях о тебе улыбка на лице.*

*Светлая моя, родная душа, вот опять пишу к тебе. Надеюсь на скорость нынешних почтовых. Невелика, знаю. Но верю.*

*А впрочем, не о том я хочу сказать. В голове стучат мысли, будто кузнец наш, Федька: домой, к лесам и полям нашим мне дюже охота. Будь зелены они либо снегом крыты — все едино: до́роги. И тебя, березка моя нежная, очень стремлюсь повидать.*

*Расскажи мне подробненько, Марусенька, как тебе живется. Спрашиваю каждое письмо, а ты отмалчиваешься. Я оттого очень тревожусь. Не случилось ли чего, думаю.*

*Ты спрашивала меня о войне. Честно скажу — писать не хочу о ней, проклятой. Смерть и грязь непролазная кругом. А хуже всего — вошь. Ну и хватит о войне.*

*Спрашиваешь, сочиняю ли. Пишу, но мало. Как-то не досуг.*

*Вот и не знаю, что еще добавить, моя лапушка. Слова кончились, чувства — бушуют. Ты пиши, Русечка, не забывай брата. Верю, любишь и ждешь, как и я.*

*И жду с замиранием ответа. Молись за меня».*

С определенной долей уверенности можно говорить о том, что поэт из армии дезертировал (1916). Мирон Евсеевич сообщал об этом факте охотно, без стеснений, в стихах, публицистике и в автобиографии, которая была найдена нами. Частушки, нецензурного содержания, из которых смеем передать немногое, чтобы лишь обозначить их дезертирский характер.

Скинул с шеи башлык,
В ту же кучу бросил штык...

Известно также, что в 1918 году, в июне, Мороков вернулся домой, но прожил в родном селе не более месяца. Этот месяц — самый загадочный для нас, исследователей, период жизни поэта. В автобиографии по этому поводу найдено лишь несколько строк:

*«...пришел домой я со свернутой шинелью чехословацкого корпуса за пазухой, с наганом и девятью патронами. Через месяц осознал решительно, что остаться мне невозможно. Марию — единственную родную мне душу, сгубили глупо, по недогляду. Тяжело стало, как зверю в горящем лесе, — ушел: без шинели, с наганом и двумя патронами».*

Когда биографы берутся за написание работ по какому-нибудь из забытых писателей и при этом являются первыми, кто вспомнил о творцах низшего порядка (мерим их талант, как водится, популярностью и шумом в миру — не нам судить, верный ли способ), неминуемо возникает проблема источников информации. Приходится буквально по сусекам соскребать факты, документы, воспоминания о жизни давно истлевших деятелей (либо бездеятелей — эти порой более будоражат интерес). Мы, взявшись за изучение малоизвестного поэта нашего края, столкнулись со всеми проблемами данного толка. Информации практически нет, архивы по поводу Морокова молчат либо маразматически выдают обрывки фактов, найденных в уголках чужих, более маститых биографий. И если о поэте мы смогли, невзирая на трудности и терности, найти кое-что, то о прочих членах семьи Мороковых — совсем ничего. Потому статус загадки получает судьба сестры Марии, которую «сгубили глупо, по недогляду». Что произошло в 1918 году (или ранее) в селе Кириково Макарьевского уезда, мы никогда не узнаем, взамен получаем свободу думать по этому вопросу в любую сторону и высоту.

## 2

Очень интересен период 1916–1918 годов. Где был поэт тогда, почему пришел в шинели чехословацкого корпуса? На это немного проливает свет архив органов госбезопасности. Но об этом позже.

Далее судьба Морокова более открыта к потомкам (-ку?). След поэта года на два теряется. Отыскивается в Нижнем Новгороде, в разгар нэпа. Поэт, судя по всему, жил тогда бурно и разнообразно. Жизнью не только творческой. Информации об этом периоде больше за счет как раз чужих биографий тех личностей, жизни которых сохранили отпечаток столкновений с Мироном Евсеевичем.

Также некоторые интересные подробности предоставляют нам официальные документы трудоустройства. Согласно архиву ФСБ по Нижегородской области (спасибо полковнику Кречетову за помощь и радушие), предположительно интересующий нас человек (совпадение почти полное: и место рождения и возраст, рас-

хождение лишь в данных по родителям) служил в Чрезвычайной комиссии. Дата поступления на эту самую службу весьма любопытная — февраль 1918 года. При этом личное дело сотрудника Губчека было прислано в Нижний аж из Самарского управления. В марте 1918 года организована Нижегородская губернская комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Отсюда и вытекает загадка визита Мирона Евсеевича в родное село летом 1918 года. Ведь по документам он уже в то время был чекистом. Можно предположить (отчего бы нет), что оперативник Мороков (на такую должность он поступил) был отпущен в отпуск. Но в такое неспокойное время, извините, маловероятно.

Далее интересен творческий всплеск поэта. За осенние и зимние месяцы 1918 года в различных газетах Нижнего Новгорода («Поволжская быль», «Нижегородский рабочий», «Красное знамя» (бывший «Интернационал»), «Голос труда») и в журнале «Вестник революции» под авторством «М. М.» было опубликовано двадцать шесть стихотворений, три рассказа и одна критическая статья «Мещанская литература: и в хвост и в гриву». Мороков активно участвует в литературной «тусовке» того времени. Посещает творческие кружки, которые, правда, по сути, были лишь поводами для пьянок. Общается с представителями литературной богемы, особенно с молоденькими поэтессами. Мария Абрамовна Тотенкопф (наст. Мария Кирьяновна Плотникова) — завсегдатай литературных салонов серебряновекового Нижнего, пишет о встречах с поэтом Мороковым:

*«Мне говорили: на той неделе в трактире “Еж”, что на Рождественке, один поэт читал стихи перед пьяной публикой. Никто, как у нас водится, его не слушал, и из зала, когда уже сам поэт задумал окончить чтение, стали доноситься разные ругательства, с матком-с. Среди прочего гаденько прозвучало: “От вас, батенька, навозцем, навозцем, несет!” На что поэт подошел к “хамскому” столику и сказал буквально следующее: “заткнись, контра, откушу нос”. После того, в тишине, поэт, покачиваясь (должно быть, от значительной нетрезвости), пошел обратно. Его догнала та же гаденькая фраза. Ну и что вы думаете? Откусил-с.*

*А недавно я познакомилась с ним. Это Мороков Мироша — красавец со шрамом под лопаткой в виде казацкой шашки, умница и недурной поэт»*

И еще много менее интересных сведений о «Мироше» из воспоминаний современников. Все они, непременно, со стрельбой из револьвера в общественных местах (однажды в бане), криками и развратностями, присущими, впрочем, времени.

О личной жизни поэта мы узнали крайне мало. Такая информация на вес золота, и заполучить ее необходимо, потому как практически все жизненные шаги творческих деятелей обуславливаются душевным состоянием и наличием либо отсутствием в этой самой душе любви.

Мороков в своих стихах утверждает, что любить он жаждет. Но почему-то не может, вот пример:

Я питался телом века,
Не обжарив, ел куски,
Но вот плотская утеха
До сих пор — предмет тоски.

*(Третий сборник объединения пролетарских поэтов «Красное вымя», 1919)*

Трудно судить, что было причиной таких заявлений: та или иная физическая немощь либо психологические барьеры. Возможно, что эти слова есть характеристика лирического героя, к которому Мороков имеет опосредованное отношение.

Старая болезнь исследователей — искать в произведениях автобиографический подтекст. Мы будем осторожней.

### 3

*Творчество*. Был ли поэт талантлив или по примеру многих лишь носил модную личину литератора. В связи с открывшимися фактами можно предположить, что таковым было его оперативное прикрытие по службе (аресты среди нижегородских артистов и деятелей искусства были в то время обычным делом). Про стихи как непрофессиональный литературовед могу сказать, что некоторые из них не очень хороши, другие — откровенно мерзкие, но попадаются и творческие успехи. Их немного, но и тексты дошли до нас не все.

Каков точно был конец жизни Морокова, мы не знаем. Официальных документов, отвечающих на такой вопрос, совсем никаких. По данным все того же архива ФСБ, в 1921 году оперативник Мороков был назначен в Лысковское отделение ВЧК председателем, сменив на посту старого большевика Горлова. Горлов погиб, как указано в донесении, «в стычке с белобандитами под селом Елховка». Мирон Евсеевич возглавлял комиссию до конца своих дней, то есть всего около года. За это время в уезде было расстреляно немалое число спекулянтов, «мешочников», «кулацких элементов», укрывателей. В число вышеперечисленных попали и священнослужители, в том числе глава Кириковского прихода отец Сергий Лопахин.

В краеведческом музее Лысковского района на стене под портретом (с драгуном на фотографии, человек на портрете имеет мало общего) висит стенд с краткой биографией писателя-земляка. Там указано, что в конце своей жизни Мороков приезжал в село Кириково навестить мать. Отношения с матерью у поэта были не очень хорошими, свидетель — дневник поэта, нами найденный. Мы никогда не узнаем, произошло ли их примирение. Согласно мнению земляков, Мороков, прожив месяц в деревне, покончил с собой. Какой способ ухода из жизни он избрал, точно неизвестно. В родном селе поэта сотрудник библиотеки рассказала мне жуткую историю о том, будто Мороков совершил оскопление и насмерть истек кровью. И будто кинжал (настоящий казачий клинок, будто даже с серебряной рукояткой), которым было это содеяно, долгое время хранился в доме Мороковых, пока его не пропил один из внуков сестры поэта Марфы. Впрочем, этот вариант гибели поэта не может считаться окончательно подлинным.

Ко всему добавляется история, которая усложняет ситуацию с исходом жизни поэта. Это мы узнали от родственников сестры Марфы. В 1921 году Евсей Мороков был арестован органами ВЧК за антисоветскую деятельность. Явление не исключительное — так происходило со многими служителями культа в то время.

Неудивительно также, что стихаря отправили в Нижний Новгород и не далее чем через месяц расстреляли. Мать поэта писала письма с просьбами пересмотра дела в районное отделение ВЧК, а также в Нижегородское, ходила три раза пешком в город (сто верст!) с передачами. Софье Григорьевне увидеть мужа не разрешали. Она не могла знать, что его уже тогда не было в живых.

В это самое время, кстати, Мороков служил в ВЧК по поддельной биографии, потому повлиять на судьбу отца не мог. Или не захотел, кто знает. Если хотите, то в этом легко увидеть еще одну стычку с совестью, которая могла подвести поэта к самоубийству. Остается только гадать.

Не знаю, кем Мороков был больше: чекистом или поэтом? О той секретной его жизни мы знаем не больше, нежели о литературной деятельности. Так не будем из-за желания совершить разоблачение отказывать Мирону Морокову в звании поэта, хотя бы посмертно. Может, ему только это и нужно было.

Считаем необходимым привести тут отрывок из дневника поэта, датированный зимой 1921 года:

«Знаю *этих двоих* очень давно. Так давно, как своих родителей, и эти двое тоже всегда со мной. Это знакомство стало обузой для всех нас. Дело в том, что их двое. Двое, слышите?

Один из них холоден и расчетлив, он красив в своей четкости и правильности форм тела и образов мысли. Он высок, неприлично высок и строен; он возвышается надо всеми, гордо задрав голову. Можно ослепнуть от блеска его ярких глаз, если он, конечно, удостоит взглядом. Он молчалив. Молчалив, особенно — холодно, так, что понимаешь: он не считает нужным, говорить сейчас. В этом он весь. Он делит весь мир на то, что он считает нужным, и на то, что он нужным не считает.

Он прав. Вот его черта. Прав, что бы ни случилось; он незыблем, как могучий утес перед бессильными попытками без устали накатывающих глупых волн, мечтающих смыть его. Перед силой его правды теряются даже лжецы и правдолюбцы. Сила его заставляет их сомневаться в очевидном.

Да, зависть берет меня. Как бы я хотел обладать этим чувством. Ведь это богатство: накладывать на все свои поступки печать Истины; это богатство и великая сила. Но оно требует колоссальной мысли. Это и есть его оружие: мысль сквозь холодный взгляд. Он любит свою мысль так, как если бы она была целью, а не средством, любит ее так, как охотник, мечтающий добыть побольше дичи, любит свое ружье, тщательно смазанное, готовое метко выстрелить. Мысль — его бог. Он преклоняется перед ней, между тем отрицая всякое поклонение, он уповает на нее, надеясь только на себя.

Я подозреваю, что он считает себя Богом. Считает. И если бы кто-нибудь начал бы спорить с ним об этом, то он непременно бы доказал, что является им. Да это пара пустяков, лишь разминка его мысли, которая блестит на солнце перламутровой чешуей, когда шипящей змеей выползает на охоту. Она жалит. Его мысль жалит каждого, кто посмеет ослушаться. А для чего же она еще нужна?

Есть проблема: он педант. Во всем. Он скрупулезно выполняет множество ненужных вещей. Он похож на идиота, когда точно и в срок делает какую-нибудь очередную мелочь. Его мысль не работает в этот момент, хотя... Наверно, это обряд поклонения всемогущей мысли, так же глубоко бессмыслен, как и велик объект поклонения. Он оброс этими мелочами, и если он захочет взлететь (а он захочет), то эти мелочи не пустят его, как паутина не пускает муху. У него еще недостаток: он когда-нибудь повесится, точно говорю, повесится. Однажды в его голове возникнет мысль, правдивость которой он не сможет оспорить — и он наденет себе петлю на шею. Это обратная сторона его незыблемой правды. Да, он поклоняется также свободе, но только лишь потому, что не знает, что это такое.

Он несвободен. Несвободен потому, что есть другой мой знакомый, Второй. Первый не сознается никогда, что зависит от того, Второго — он слишком горд. Первый, конечно, мне симпатичен больше, чем Второй, хотя, может быть, потому что я недостаточно хорошо знаю их обоих.

Второй — растяпа. Это неудачник — самая ненавистная социализмом форма жизни. “Революция! Железная воля!”— кричат они днем и ночью. А этот, Второй, лишен воли напрочь, потому недостоин уважения. Это маленький человек, грызущий ногти. Нервный и дерганый. Он не умеет владеть собой совершенно, он неопрятен и груб, своей грубостью пытающийся скрыть смущение и слабость. Он скромен до отвращения и нелеп во всем: в своем желании помочь, в желании совершить великое. Он горд в глубине души и болезненно самолюбив, а значит, склонен к мазохизму. Не проходило дня, чтобы он не самобичевал себя. В своих малейших ошибках он находит маленькую черную точку и расширяет до размера черной дыры, засасывающей его душу и причиняющей страдание, которым он наслаждается и жалеет себя, любя.

Он чувственен и слезлив. Он мне противен, но мне было бы скучно без этого. Он готов отдать все свое сердце любому, но он несвободен, он доверчив и нерасчетлив. Он плохо играет в шахматы. Он не любит людей, и это единственное, в чем схожи Первый и Второй. Но Первый не любит людей, потому что презирает их за ничтожность, а Второй ненавидит себя среди людей, так как не может показаться открыто и честно, потому что погряз в предрассудках, тянущих его ко дну, не давая всплыть. В этом есть несвобода Второго.

Но они мне надоели, эти двое. Я их терпеть не могу. И они ненавидят меня и друг друга. Первый не обращает внимания на нас обоих и холоден в своей ненависти и снисходителен, как бог. Второй не любит меня за то, что я пренебрегаю им, а он болезненно мстителен в самолюбии своем. Но стоит мне протянуть ему руку, и он завизжит от радости и простит мне все. Первого он не любит по той же причине, но в глубине души он хочет походить на него.

Я хочу признаться: эти двое живут во мне. Они “плюс” и “минус” (только не знаю кто из них кто) из одного алгебраического уравнения. Это нерешенное уравнение я.

Удивительно. Я решил убить одного из них. А что же еще мне делать, не оставлять же уравнение нерешенным. Примирить их невозможно, поэтому нужно убить одного. Они ведут себя так: Второй творит глупости и постоянно смешон, а Первый спокойно наблюдает, не вмешиваясь, будто я ему чужой, и спокойным речитативом комментирует и высмеивает глупости Второго, причиняя его самолюбию урон, заставляя меня грызть ногти. Убить, убить... Второго. Не Первого же. Быть может, возможно примирение. И этим примирением стану я. А может, они уже примирились, но не для меня, и теперь наблюдают, посмеиваясь, мою беспомощность...

Неужели все стоят перед этим выбором, неужели в каждом живут эти двое. Я не верю. У кого-то в глазах я вижу глупость, у кого-то разум, у кого-то скромность, но нет противоречий, ни у кого я не заметил этих двоих. Почему? Я согласился бы стать последним глупцом или негодяем, лишь бы обрести наконец форму, не быть глиняным комком в *их* руках, лишь бы избавиться от этих двоих.

Может, это я все придумал, а может, один из этих двоих давно умер. Только кто из них умер, я никогда не узнаю... И *кто* все это написал, тоже не ясно...»

Несколько стихотворений Морокова из газет начала века, чудом добытые нами в различных архивах города, и большей частью не опубликованные, из записок:

**Продотрядовская**

Бьем и скачем,
Кони пляшут:
Раскулачим
Тех, кто пашет!
*(Газета «Волжская коммуна» № 2 за 1919 г.)*

* * *

Старшина, не ори!
Подь-ка с нами на Дон.
Ты же не господин
И не граф, не барон.

Ну а я дезертир,
А мой друг — самострел.
Мне б сегодня в трактир,
Но, считай, не успел...
*(Из записок поэта)*

* * *

Морока зов прельщает
Господа отторжение.
У порога меня встречает
Девушка милая, Женя.
Голубоокая, меня разувает,
Белые кажет колени,
Снег за окошком тает,
Слезное богу моление...

Где и когда потеряли мы
Мечты своей нити и муки,
Что щедро напряли нам
Надежды усталые руки?

* * *

На заре мы стреляли в лошадей и людей:
Пиф-паф в кровавое ржание.
На закате усталом отпевали родных матерей
Под сестер безутешных рыдание.

* * *

Мне б пулю холодную в тишине приласкать
Сердцем красным, в колодце остуженным,
По столу комиссарскому мозг расплескать,
Чтоб в тумане речном быть разбуженным.

* * *

Жечь бы сердца чужие,
А не карать смертями.
Но плечей сажени косые
Остро-остро торчат костями.

*(Из записок)*

**К Ленину**

Здравствуй, товарищ Ленин,
Революции яркий свет,
Мы свои не сгибаем колени,
Имя заслышав твое — нет!

Ибо не убоялись тя, но возлюбили...

Мы стекаем слезами счастья
По дряблости Родины щек,
Буржуи раскрыли жаднющие пасти
На рабочий худой кошелек.

Будем бить их, как жен своих били...

Ты же, Ленин, напел нам на ухо
Грустной правды горячий шепот.
Знай, буржую разрежем мы брюхо,
В уши засунем коней наших топот.

Более не печалься, товарищ Ленин!
Ни пред кем не согнем мы колени.

*(Газета «Поволжская быль» № 11 за 1920 г.)*

*Автор биографического очерка* **Путимиров Невзор**

## Глава 8. Уныние

[На тонком пальце — крупный перстень. Рука, лепесток тюльпана, парит в воздухе отдельно от хозяйки-колдуньи и распускает самые непристойные из запахов весны. Перстень такой: на кольце вместо камня искусная клетка из тонких золотых нитей. Клетку венчает плоский рубин. Мы видим легкое колебание внутри. Ближе становится ясно: это в перстне бьется мухокрылое колибри. Вот так диво! Попалось мухокрылое колибри в клетку нашей любимой колдуньи. Всему виной беспокойство чудо-птицы. Но девушка щелкает по кольцу ногтем — крошечная дверца клетки отворяется, птичка — вон. Жужжи себе, лети в тревожную страну, где колибри живут, не страдая от непонимания.

Колдунья теперь смотрит на меня, целует в губы. Ах, как сладко! Я делаю все, чтобы на ней из одежды осталось лишь кольцо. Целую маленькие прелест-

ные стопы своей волшебницы. Пяточки и между пальчиков. Она хохочет: щекотно. Говорит: пойдем со мной, я покажу тебе гнездо колибри. Я, конечно, теперь от нее никуда.

И еще. Колдунья часто повторяет: когда мы сплетены, как лоза в корзине, — у меня в животе начинают порхать бабочки. Я ей вполне верю. Бабочки порхают и во мне, если волшебница пускает погулять в волшебном своем лесу. А она пускает охотно.]п

* * *

— Поехали в лес, милая.

— Поехали, Неврик, поехали, родной.

— Поехали в лес, милая, по грибы, под Ворсму, там леса, там такие леса, что хочется утопиться от счастья. Знаешь, и грибов там, что картошки в огороде твоего деда, неприлично сказать, как много грибов в тех лесах.

— Поехали, Неврик, корзинки у нас глубокие.

— Милая, сердце мое норовит выпрыгнуть и пусть, пусть скачет, только не тут, не в пыльном городе, пусть прыгает там, в лесах под Ворсмой, по взгоркам и овражкам прыг-скок, с зайцами наперегонки. Понимаешь? Ты ведь одна способна понять.

— Поедем, Неврик, в лес, поедем под эту твою Ворсму, ласковый мой зайчик.

— Там же много моей родни, только мама не хотела, чтобы я ездил... Мама... — глаза мои в небо, а потом снова на жену, — Поехали в лес, минуя родню, что нам родня, у нас есть немного денег, чтобы купить немного свободы, вот и поедем...

Вот и поехали.

* * *

Все же остановились мы у моей тети, в деревеньке под Ворсмой.

В этом теперь доме много женщин. Их трое, но их много. Мне среди них тесно, и спасение лишь на террасе и только по вечерам. Жена, двоюродная сестра Элеонора — крашенная в блондинку, раздобревшая мамзель, а также поседевшая, строгая, как Грозный Иван, — не забалуешь, учитель истории, аристократка по духу, крестьянка по происхождению, тетя моя, Наташа. Так: одна, вторая, третья — кажется, все. Уж очень эти три женщины меж собой поладили, для меня неожиданно. Каждый вечер у них «вечера»: в доме звучит фортепиано, чаще всего «Лунная соната»,— играет жена, великолепно, кстати, играет, а сестра с тетей, судя по шаркающим звукам, пританцовывают в такт — противно как-то у них выходит. Потом женщины садятся пить чай из тонкого китайского фарфора — тетя любит красивую посуду. Может, оттого она и не жаловала меня, маленького, детской своей неуклюжестью часто сокрушавшего сервизы.

Варенье из черники и зеленый мятный мед у них там в розетках на белой скатерти с пеной кружев по краям, свисающим вдоль крепких и округлых, как икры сестры Элеоноры, дубовых ножек стола. Женщины беседуют, шепчут и хихикают Бог знает о чем, когда же случайно крадусь мимо, то о музыке и кино. Я же провожу вечера в одиночку, читая на террасе (мне это предпочтительнее): предо мной показывает прелести сумеречный сад, по мне без вреда ползают мухи, на табурете дымится чай в толстостенной кружке — вижу: недоверие тети не умерло. Гамак поскрипывает, а прочитанное кажется невозможной белибердой. Две недели уже, как

все идет таким чередом. Я и сейчас лежу на террасе в гамаке, а в руке у меня набоковское «Отчаяние».

Живем тут почти неделю и только вчера наконец выбрались в лес. Все вместе. Я решительно поднял женщин рано утром, некоторых с неохотой и сонным ворчанием, когда еще туман стелился у окон, а трава росой блестела. Мы вышли по грибы: у каждого под боком пузатая ребристая корзина, а в ней амбициозный, безбожно заточенный, впалый нож. Здешние леса холмисты и неровны, как лезвия наших ножей. Очень утомительные для прогулок леса, заставляющие дышать к ним неровно. Тут скачешь горным козлом по кочкам, через ледяные ручьи, отмахиваешься от слепней, продираешься между веток, а там непременно липкая, сорная, с сухими мухами, паутина.

Я ушел от девчонок, упал в траву, сломил соломинку, и в зубы. Вспомнил поход ко врачу — память заботливо подставляет картинки да звуки. Разговоры с женой вспомнил, приезд в Ворсму. Темная туча густым пятном расползалась по душе, как на воде пятно нефтяное...

Потом, помню, брел куда-то в чащу, давно не слыша женских звонких «ау», криков «нашла!», пинал кочки, размахивал корзиной, надевал ее на голову, как большой несуразный шлем, шел, все же глядя в траву, будто и вправду искал грибы. И упрашивал себя, уговаривал, как капризную дочь, не видеть плохого вокруг, не думать о том, что жена мучается трудным выбором, что не стоит верить горячим, как слезы, словам, не сходящим с ее языка. «Милый, милый мой Неврик, на тебя, на нас, родной, сойдет другое счастье, взамен потерянного, вот увидишь, ты только зорче смотри. А я с тобой, с тобой мой Неврик, всегда с тобой...» Кажется, даже «вечно с тобой». Нет, нет, она не врет, она и вправду от меня никуда.

И тогда я вышел к реке. Продрался сквозь чащу, потрещал кустами, раздвинул шторы высокой травы и увидел водную гладь.

Река была прекрасна, и солнце играло, озорно прыгало по клавишам мелкой речной дрожи, а на том берегу резвились дети. Толстенький мальчуган, не так давно начавший ходить, с непослушным хохолком на макушке, с большим красным мячом, звенящим от ударов о плотный глиняный берег. Он бросал мяч, мяч падал-падал-падал, мальчуган неуклюже шагал следом, раскинув для объятия пухлые ручки, а неподалеку его стерегла сестра. Девочка лет семи с белыми бантами на тонких косах, серьезная и позирующая. С другого берега было видно, как она старается быть взрослой, не позволяя себе и малейшей игры. Грозит пальчиком брату и широко вышагивает, глядя под ноги, величаво сложив руки за спиной. Я кричал, не вытерпев: «Малышка, не торопись! все будет, все успеешь! Останься, слышишь, побудь немного ребенком, побудь...»

Меня окликнули. Кажется, жена.

Впрочем, вполне может статься, что было то в бреду, ведь последнее время я часто наяву вижу «то, что вам даже не снилось, не являлось под кайфом» и тому подобное. Знаю, это Морок-смутьян наконец отыскал меня и встал за спиной. Не смейтесь, не вызывайте «скорую», не обкрадывайте меня... Он втискивает мне в ухо скользкие комки мыслей, которые теперь всегда наготове, всегда первые; Негодный предлагает мне счастье, а взамен хочет жизнь, но только так, будто я добровольно отдаю — вот что ему нужно. Он шамкает над ухом, скрипит ржавыми петлями челюсти: «Отрекись, орекись, бе-бе-бе, отрекись и спасешься...» Господи, помоги же!

И вот предо мной снова Набоков. Снова гамак, терраса, опять томный июньский вечер и мягкий, одновременно тяжелый, как ртуть, женский смех за стеной. И мысли в моей голове, которые, чую, доведут до греха. Потому что не знаю, как

снова обрести почву под ногами, когда прежняя куда-то подевалась, оставив меня в растерянности. И теперь понимаю Рому, армейского друга, человека с обглоданной душой. Теперь-то я увидел прямо, во всей фронтальной красе, а не краем глаза, этот мерзкий синий огонек, свет страха и чего-то неотвратимого, непознанного, как смерть, свет чего-то такого, чего не пытайся даже понять. Морока сигнальный огонек.

И первый раз я чувствую жажду души, оскомину сердца и искренне, слышите, искренне хочу все это прекратить. И успокоит меня лишь одно. Взрыв мироздания, волна разрушения, гром, треск и скрип скрученных стихией стен, столбов и стволов жизни! И тишина... Как, должно быть, после контузии. Пи-и-и-и-и-и-и-и...

И в сладчайшем этом безмолвии несколько мгновений того, что можно назвать раем. В те минуты я желал бы увидеть купающихся в реке своих детей, которые никогда не родятся, счастливого Рому вместе с женой и сыном, улыбку мамину и глаза, отца покаяние, Антонину Петровну, укрывающую пледом своего дряхлого Мишеньку, который от нее теперь никуда; молодого Никона Василича в коричневых сандалиях и парусиновых брюках с женой и дочерьми на отдыхе, где-нибудь в Анапе.

И отдельно, чтобы в этом недолгом мираже мелькнули все лица, все-все, что я видел за жизнь, лица людей, слова которых вбитыми гвоздями остались в моей голове, — проще говоря, хочу, чтобы были титры. Хочу знать, кто кого играл.

И если такое мгновение возможно, то именно там Мирон встретит Марию, не иначе. Они улыбнутся при встрече многозначно и искренне, упадет она ему на руки на исходе надежд. А по лицу Марии непременно прокатится терпкая русалочья слеза и упадет на Миронову гэпэушную гимнастерку с тремя зелеными «разговорами». Станут сестра с братом целовать друг друга. От нас всех, Господи, просьба: ну прости их, прости, и пусть делают, что хотят!

Эх Набоков, к черту тебя, в сад, в яблони, в жгучую крапиву! Душно, душно же...

В Твоем мире все меньше места для надежды. Много тоски и тревоги. Мы не можем легко шагать по земле, нам страшно. За будущее и за то, что уже давно за спиной. Мы не можем поручиться за то, что завтра нас не бросит жена, что послезавтра нас или кого-то близкого не иссушит до безобразия болезнь. Что дети, которых Ты, может, и не дашь, не умрут на наших глазах, что не унесет их, стремительно и страшно, война или еще какая причина, коих у Тебя не счесть. Да мало ли что... Нам тревожно также, что прошлое вывернет из-за угла и сделает из настоящего ад. Вспоминая парня, что стоял на том ночном мосту, я думаю: некоторые выбирают заведомо известный конец ради того, чтобы жизнь стала яснее. В этом смысле они не очень отличаются от остальных, просто они упрощают, уменьшая тревогу, тушат ее, как огонь по-пионерски. Только кайф и ломка, кайф и ломка — в цепи их существования, длину которой оборвет, когда Тебе будет угодно, смерть. Как, впрочем, и любую другую цепь. И я понимаю, почему Морок так силен, почему его свет прельщает многих...

Господи, не дай нас в трату, помоги нам между Мороком и Тобой выбрать Тебя, Боже! Ведь нам немного нужно. Честно, не лукавим. Мы из кожи вон лезем ради одного: чтобы после того, как уйдем, вспомнили о нас. Вспомнили только. Всего лишь единожды — малый миг жизни бы на нас извели. Пусть в самом неприятном месте тот миг случится, да хоть в туалете между потугами!

Совсем бы счастье, если б сказали, про себя или вслух, имея в виду именно нас: они жили, они любили, чего-то там чувствовали, чего-то себе думали. Это справедливо было бы, потому как на мысли, в духоте которых мы томились и блуждали, точно ни за что не наткнешься, сколько ни живи. Про чувства наши совсем

молчим. Хм, чувства... Так им же места не хватало меж ребрами и стенами тесных наших тел и квартир!

И еще б желательно — извини, что таким тоном, Господи, — желательно, чтоб пролилась слеза в честь наших жизней. Хоть одна на всех. И чем горше будет капля, тем охотней слижем мы ее с щек: промозглым кладбищенским ветром сдуем.

И уж если невыполнимо то, о чем просим, о чем жилы вытягиваем, звеним ими, как гитарными струнами, если так невозможно каждого вспомнить, пусть вспомнят друзей наших или соседа, с которым до усталости хлестко лупили друг друга по скулам и куда попадем. Пусть хоть попутчика вспомнят того, что в поезде вытащил у нас из сумки кошелек с отпускными, где-то между Нижним и Москвой. Хоть через таких людей, а проявиться на миг, вынырнуть бы из темноты и сразу обратно. А? Дозволь в углах чужих биографий серењким пауком сверкнуть на паутине. Разрешишь, Господи? И прости нам честолюбие наше, ежели это оно...

## Глава последняя. Суд первый, малый

— Маша... о Господи! Маша! Что с тобой?.. — кричат за стенкой. Верещат даже.

Я бегу с террасы в дом сквозь бревенчатый темный коридор, бросаюсь на узкие визгливые створки — хлоп!

— Маша! Мари-йаа!

Жена лежит у стола, головой в тени, ближе к окну, руки вдоль тела, полы зеленого, ее любимого платья чуть задрались вверх. Рядом с ней опрокинулась розетка с черничным вареньем.

— Маша, маленькая моя, что с то...

Я пытаюсь ее поднять, но бесчувственное тело на моих руках прогибается, тянется к полу, головка запрокидывается, показывая невозможный излом белой шеи. Распущенные ее русые, с рыжиной при таком свете, волосы чуть касаются половиц. Слышу, что тетка вызывает «скорую» в соседней комнате. Эля стоит у стола. Положив ладони на пухлогубый рот, она бессмысленно чмокает в волнении.

— Эля, воды быстро!

«Скорая» приехала минут через двадцать, Машу увезли. В безмолвии уложили на носилки и увезли, не сказав ничего вразумительного, кроме адреса и телефона больницы. Двери противно хлопнули, и «газель» укатила по нехорошей сельской дороге. Аккуратней, очень не трясите...

* * *

Я совсем не спал ночь, потому что весь вечер в больнице не брали трубку, а Машин телефон остался на тумбочке у кровати. Еле дождавшись света, я мчусь в больницу, спотыкаюсь неверными ногами о все подряд, сажусь на первый автобус до Ворсмы. Вокруг люди, едущие на работу в город: угрюмые и недовольные, с затхлыми запахами пробуждения во ртах. Выхожу на нужной остановке, быстро, не замечая ничего вокруг, дохожу до больницы.

Врываюсь внутрь. «Какие, на х..., бахилы? Идите...» Бегаю по коридорам, стучу дверьми, как будто не хватает мне воздуха и ищу я выход. Не могу ничего понять и узнать, а узнать нужно, иначе конец, иначе ничего, ничего...

«Девушка... Путимирова Мария, да, Мари-йа Пу-ти-ми-ро-ва, да... Жду. Что? Нельзя пройти? Почему? Реанимация? Нормализовалось? Хорошо. Что два месяца? Как бере..? Не может... А когда я могу увидеть ее? Девушка милая, передайте, пожалуйста, моей жене мобильник и... подождите, девушка, записку...»

Быстро шкрябаю на обратной стороне желтого бланка: «Русечка, милая, поживем, давай еще поживем, любовь моя!»

— Вот возьмите. Спасибо, девушка. Спа-си-бо!

Меня выносит в длинный коридор, по обе стороны которого плотно сидят на скамейках понурые и горькие взглядами больные. По коридору белой молью летают медицинские сестры. Будто палуба фрегата, пол подо мной кренится, а ногам трудно идти. Танец пьяных моряков — тарантелла, в моем исполнении. Заглатываю, сколько могу, воздуха, и из легких наружу норовит вырваться клокочущее «охо-хо-хо-хоу» — голос земного счастья либо неземной беды. Я не пускаю, сдавливаю, комкаю в груди мощный его порыв. Мало ли что.

Мысленно подмигнув всем знакомым криницам и лешим, я хитро киваю Мороку, который в виде сутулого старого доктора вдруг выныривает из кабинета хирурга мне навстречу, обдавая меня крепким ароматом «Шипра», что ли, — вот он: суховатенький, почти лысый, с дурманным взором, взвинченными бровями и с рыхлым пористым носищем — вот он каков!

— Здравствуйте, любезный! — и мощно запеваю что есть духа: — Разлу-у-ка ты, разлу-у-у-ка, чужа-а-я сто-ро-на-а...

Все вокруг оглядываются, квохчут, как сонные куры. Да, они все правильно делают, ведь я же пою в больнице, пою — где такое видано? Это неприлично, громко и вообще ни в какие ворота, и говорить об том не стоит.

Обстановка, однако, подстегивает: больные произносят сиплыми от молчания голосами какие-то глупости, медсестрички звонко, но также ничего умного. Словесная листва под моими ногами. Шуршит. Я, назло больным и здоровым, назло хирургу, который сквозь очки-велосипед прожигает мне взглядом спину, иду, нет — парю по коридору. И не могу, хоть убивайте, не могу остановить «Разлуку».

С ней и выхожу из больницы, а там зеленый город Ворсма, солнце и небо, конечно. Синее, как мамины глаза.